ДОБРЫНЯ ДЕМИДОВ



НАСЛЕДНИК ВЫЖИВШИХ

ОЧЕРЕДЬ СМЕРТИ

18+

Очередь смерти

Добрыня Демидов

Очередь смерти. Книга 1. Наследник Выживших

«Автор»
2026

Демидов Д.

Очередь смерти. Книга 1. Наследник Выживших / Д. Демидов — «Автор», 2026 — (Очередь смерти)

В мире после ядерной войны, где каждый новорождённый получает чип с номером в Очереди, жизнь — это просто математика. Счётчик неумолимо тикает, приближая конец. Ты не можешь выйти из Очереди. Ты не можешь обогнать стоящих впереди. Ты просто ждёшь смерть. Но есть те, кто не ждёт. Александр родился в золотой колыбели: его семья входит в закрытый Совет Выживших, а его номер с рождения аномально далёк от смерти. С детства он скрывает опасную мутацию — видит чужие номера, парящие над головами людей, как тусклые неоновые клейма. В день восемнадцатилетия его ждёт семейный ритуал Обновления, который родители называют элитной медицинской процедурой. Но когда нейроаппарат включается, Александр видит в соседней капсуле лицо давно пропавшего друга детства. Его собственный счётчик вздрагивает, а номер друга начинает стремительно таять. Элита не просто богата. Она бессмертна и платит за вечность чужими жизнями...

© Демидов Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 6
Глава 2 15
Глава 3 23
Глава 4 32
Глава 5 41
Глава 6 51
Глава 7 61
Глава 8 71
Глава 9 81
Глава 10 89
Глав 99
Конец ознакомительного фрагмента. 100

Очередь смерти. Книга 1. Наследник Выживших

Все события и персонажи вымышлены

Глава 1

Я проснулся за минуту до того, как в комнате появился свет, и лежал с открытыми глазами, слушая, как едва слышно гудит под потолком вентиляция. В Шпилях свет не включают, он приходит сам: ровно в 6:00 Купол над Главным Шпилем меняет прозрачность, и солнце, которого внизу не видели восемьдесят лет, ложится на подоконник, на ковёр и на край моей кровати так ровно, словно его отмерили по линейке. Простыня под ладонью была прохладной и гладкой, из приоткрытого окна тянуло озоном и хвоей, и этот запах в нашем доме всегда означал утро. Отец любил повторять, что так задумано нарочно, потому что человек должен просыпаться вместе с солнцем, иначе он начинает думать, будто солнце ему что-то должно.

Я лежал и слушал тишину, в которой с детства привык считать. Двести тридцать человек в сутки, девять с половиной в час, один каждые шесть с небольшим минут: эту арифметику на Острове знает любой ребёнок задолго до того, как научится читать. В первом классе учительница ставила на стол песочные часы, и весь класс молчал, пока сыпался песок, а потом она переворачивала их и говорила, что кто-то сейчас дошёл и исполнил свой долг, поэтому нам следует жить так, чтобы не было стыдно, когда дойдём мы сами.

Мне было семь, и я смотрел на тонкую струйку песка, думая не о долге, а о том, кто именно это был. Где-то на Острове в ту самую секунду человек сидел за столом, ехал в вагоне поезда или стоял у станка и вдруг переставал быть, без крика и без боли, потому что сердце просто останавливается, когда Текущий Номер доходит до твоего. Так нам объясняли в школе, так говорили дикторы на экранах, и так оно на самом деле и было: Очередь милосердна, Очередь справедлива, Очередь не ошибается.

Я перевернулся на спину и попробовал нащупать свою тяжесть, как делал каждое утро. Её почти не было, только лёгкое давление в основании черепа, похожее на прикосновение тёплой ладони, там, где под кожей с первого вдоха сидит Печать. Люди внизу, по слухам, чувствуют её как камень, который растёт с годами, а старики описывают её как гул, как зуд под костью, как мигрень, от которой не спасают никакие таблетки. Мне же в восемнадцать лет без одного дня казалось, что я вешу в Очереди меньше пуха, и тогда я искренне считал это удачей.

* * *

Зеркало в моей комнате занимало всю стену у гардеробной: старое, довоенное, в раме из тёмного дерева, которое больше нигде на Острове не растёт. В Шпилях зеркало считается не роскошью, а обычной мебелью вроде кресла или лампы, хотя внизу, как я знал из уроков граждановедения, за осколок зеркала размером с ладонь можно выменять месячный паёк. Без зеркала человек не знает, сколько ему осталось, и эта простая мысль казалась мне тогда дикой и немного неправдоподобной, примерно как рассказы о Пустоши.

Я стоял перед своим отражением, и паркет холодил босые ступни. Сначала я увидел просто себя: высокого худого парня с тёмными волосами, которые мать всё грозилась подстричь к Обновлению, с лицом, которое Ника называла слишком серьёзным для наследника, а отец называл лицом Совета. Через полсекунды, которые нужны мозгу, чтобы узнать себя, над моей головой проступили белые ровные цифры.

8 611 204

Тому, кто не умеет ждать, они кажутся неподвижными, но если смотреть долго, как смотрел я, можно заметить, как последняя цифра раз в шесть минут проворачивается на единицу. Мне всегда чудился при этом едва слышный щелчок, похожий на звук, с которым мать по вечерам закрывала шкатулку с украшениями, хотя никто, кроме меня, его не слышал, а может быть, я его просто придумал. Восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести четыре шага Очереди отделяли меня от конца, и шагов этих было больше, чем людей на Острове, потому что в Очередь встают и те, кто ещё не родился.

Жребий ставит каждого новорождённого на его место, где-то впереди тебя или позади, и никто, кроме сервера, не знает, где именно. Разделив свой номер на двести тридцать, а потом на триста шестьдесят пять, я получал сто два года и семь месяцев, и этот расчёт я повторял каждое утро с той же тщательностью, с какой другие люди проверяют погоду. Обычный человек получает при рождении от пятидесяти до семидесяти лет, счастливчикам выпадает девяносто, и о них пишут в новостях Средних уровней, а тем, кому выпадает три года, не посвящают ни строчки.

Жребий один для всех: это первое, чему учат в школе, и последнее, что говорят над умершим, произнося привычное «он получил своё по Жребию и прожил его с пользой». Мне Жребий дал сто двадцать лет, и мать называла это счастьем, а отец предпочитал слово «ответственность». Учитель граждановедения, которого я в десять лет спросил, почему у всех детей Совета такие большие номера, долго молчал, а потом объяснил, что Совет состоит из людей, нужных Острову больше других, и Очередь об этом знает. Я поверил ему, как долго верил всему, что взрослые говорили спокойным голосом.

Есть ещё одна вещь, которую знает каждый ребёнок, хотя её объясняют не песочными часами, а страхом. Человек, умерший раньше своего номера от ножа, от обвала или от собственной глупости, не оставляет в Очереди пустого места, потому что Очередь не прощает пропусков и тут же забирает того, кто стоял первым. Две смерти вместо одной и весь Остров на шаг ближе к концу. Так звучит Закон Равновесия, из-за которого у нас почти не убивают, в Шпилях не делают перил ниже груди, а в школах закругляют все углы. Внизу толкающемуся в толпе человеку говорят «не толкайся, всех задержишь», и хотя считается, что это шутка, над ней никто не смеётся.

Я отвернулся от зеркала, однако цифры не исчезли, потому что они не исчезали никогда, и в этом заключалась моя беда. Обычный человек видит свой номер только тогда, когда видит собственное лицо, ведь Печать устроена так, что ждёт, пока мозг скажет «это я», и лишь после этого выводит цифры прямо в глаз. Отсюда зеркала, отсюда хронолинзы для тех, кто может их себе позволить, и отсюда же непреложное правило, по которому никто и никогда не видит чужих номеров, как никто не слышит чужих мыслей. Я же видел их над каждым человеком, с которым меня сводила жизнь.

Это началось зимой, когда мне исполнилось двенадцать: однажды утром я спустился к завтраку и увидел число над головой горничной. Сначала я решил, что заболел, потом подумал, что схожу с ума, а через неделю, когда числа появились над всеми, над матерью и отцом, над учителями и дикторами на экранах, понял, что меня увезут, если я скажу об этом хоть кому-нибудь. Куда именно увезут, я не знал, зато хорошо знал другое: всё, что на Острове не укладывается в Протокол, рано или поздно куда-то исчезает.

Шесть лет я молчал и за это время научился не смотреть выше бровей собеседника. Я научился не вздрагивать, когда в толпе мелькает жёлтое, и держать лицо, когда над человеком, с которым говорю, медленно проворачивается последняя цифра. Наверное, это было единственное, чему я за всю свою жизнь научился по-настоящему хорошо.

Иногда мне казалось, что во мне сидит какой-то дефект, что-то сломанное в самой Печати, а иногда в голову приходили мысли похуже. В библиотеке отца хранилась книга довоенных сказок, и в одной из них жил человек, который видел, сколько осталось жить другим, а в конце сказки начал питаться их жизнями. Мне было тринадцать, когда я её прочитал, и потом несколько ночей подряд я не мог уснуть, прислушиваясь к себе и пытаясь понять, не хочется ли мне чего-нибудь подобного. Мне не хотелось, однако я до сих пор не уверен, что та сказка закончилась на последней странице.

Я надел серый костюм с высоким воротником, какой полагается наследнику в последний день детства, и вышел в коридор. Дом Ракитиных просыпался: сорок две комнаты на трёх уровнях, оранжерея, сад на террасе и смотровая галерея под самым Куполом постепенно наполня-

лись шагами, голосами и запахом свежего хлеба с кухни. Жили в нём не только Ракитины, но и двадцать два человека прислуги, которых я знал по именам, а заодно, хотя никто об этом не догадывался, и по номерам.

Первой мне попалась Тоня, горничная второго этажа, с ямочками на щеках и стопкой тёплых, только что из сушилки, полотенец в руках. От полотенец пахло лавандой и горячим паром, и этот запах на секунду перебил даже хвою. Тоня шла быстро, чуть пританцовывая, как ходят люди, у которых впереди хороший день.

— Доброе утро, Александр Викторович! — Она улыбнулась на ходу и чуть замедлила шаг. — Завтра большой день, да?

— Завтра, — согласился я и улыбнулся ей в переносицу.

Над её головой горело жёлтым **58 340**, то есть восемь с половиной месяцев жизни. Жёлтым её номер стал ещё прошлой весной, и она, конечно, об этом знала, ведь у прислуги в Шпилях есть доступ к зеркалам, и ради таких привилегий сюда так стремятся попасть. Она знала и всё равно смеялась, всё равно бегала по субботам на танцы в служебный ярус, и я не понимал, как такое возможно, да и сейчас не понимаю.

Дальше по коридору прошёл старший повар Арно с белым номером лет на двадцать с лишним, за ним его помощник, тоже белый, а у лестницы стоял охранник Денис, у которого белого было много. Над лестничным пролётом висела камера, и её красная точка тихо повернулась мне вслед, как поворачивалась всегда. Я привык к камерам с младенчества, как привыкают к шуму вентиляции, и верил, что они смотрят на нас ради нашей безопасности, потому что так говорили на Острове все без исключения, и с нами в самом деле ничего не случалось.

* * *

Завтракали мы в Малой столовой, где одна стена целиком была экраном, а противоположную занимало огромное окно, за которым начиналось небо. Отец сидел во главе длинного стола спиной к окну, и свет бил мне в глаза, так что его лицо приходилось угадывать против солнца: прямой и сухой силуэт в тёмном костюме, седина на висках, гладкий твёрдый подбородок. Виктор Ракитин, член Совета Выживших, был одним из тех, кто восемьдесят лет назад был ребёнком и помнил Войну, однако, не зная этого, я дал бы ему лет пятьдесят пять, не больше. Пахло кофе, тёплым маслом и его одеколоном с горьковатой древесной нотой, которую я узнал бы среди тысячи других запахов.

Над ним стояло **14 203 557**, и это число я помнил столько же лет, сколько видел чужие номера. За шесть лет оно ни разу не уменьшилось, а после отцовских поездок на Медицинский уровень иногда даже вырастало на десятки и сотни тысяч. Лет в четырнадцать я осторожно спросил у матери, что отец там делает, и она ответила, что членам Совета положены процедуры, а спрашивать, какие именно, я не стал, потому что всегда умел не задавать вопросов, если по лицу собеседника видел, что ответ мне не понравится.

Мать сидела слева от него, тонкая и светлая, и кончиками пальцев разглаживала край скатерти, как делала всегда, когда волновалась. Над Еленой Ракитиной стояло **2 904 118**, тридцать с лишним лет, белое число, но совсем не бесконечное. Мама была единственной в нашей семье, чей номер просто уменьшался, по одному шагу каждые шесть минут, как у всех остальных людей, и почему-то именно это успокаивало меня больше всего в этом доме.

— С добрым утром, Александр, — сказал отец, не отрываясь от планшета.

— С добрым утром.

— Последний завтрак ребёнка. — Он отложил планшет и посмотрел на меня. — Ешь как следует. Завтра будет некогда.

На экране шла Сводка с Периметра: вид с наружной стороны Купола на восточный сектор, бурое небо, лиловые разряды молний и пепельные смерчи, которые ветер гнал по мёртвому берегу. Чёрный океан катил тяжёлые маслянистые волны, а по нижнему краю экрана бежала строка о буре четвёртой категории, об уровне излучения в триста сорок единиц и о том, что

Купол функционирует в штатном режиме, а гражданам рекомендуется сохранять спокойствие. Я смотрел Сводку каждое утро всю свою жизнь и ни разу по-настоящему не испугался, потому что бури в Пустоши походили друг на друга, как сёстры: та же лиловая вспышка слева, тот же смерч, ползущий вдоль берега к краю кадра.

Мне думалось, что у радиации просто нет воображения, и это мне даже нравилось, ведь снаружи был ад, но ад предсказуемый, а внутри, под Куполом, солнце приходило ровно в шесть. Потом диктор сообщил об обвале на Нижних уровнях в секторе Д-14, где «трое граждан досрочно исполнили долг», после чего Шаг Очереди был скорректирован, а гражданам было рекомендовано соблюдать технику безопасности. Следом показали открытие новой оранжереи на Средних уровнях и женщину, которой Жребий дал девяносто восемь лет, и диктор улыбался так старательно, будто каждое слово стоило ему денег.

— Завтра в десять, — сказал отец. — Эдуард проведёт всё сам. Он проводил и моё Обновление.

— Что именно он проведёт?

Я не собирался спрашивать, вопрос вырвался сам собой, и я тут же о нём пожалел. Мать перестала разглаживать скатерть, и в наступившей тишине стало слышно, как её ложечка тонко звякнула о край блюдца. Отец не повысил голоса, он вообще никогда его не повышал, потому что ему это было не нужно.

— Обновление, Александр. Ты знаешь.

— Я знаю название.

Он посмотрел на меня долгим взглядом без всякого раздражения, и я сощурился, пытаясь разглядеть его глаза против света. Так отец обычно смотрел на карты районов в своём кабинете, словно прикидывал, где пройдёт новая магистраль и что придётся снести ради неё. Мне вдруг показалось, что сейчас он прикидывает что-то похожее, только картой был я сам.

— Этого достаточно, — сказал он наконец. — Есть вещи, которые нельзя объяснить. Их можно только пройти. Я тоже задавал вопросы в твоём возрасте. Потом прошёл, и ответы стали не нужны.

— Это больно?

— Немного. Взрослеть вообще немного больно.

— Виктор, может быть, ему всё-таки стоит… — начала мать и не договорила.

— Елена, — сказал отец.

Он произнёс только её имя, ровно и мягко, но мать сразу поднялась из-за стола, словно вспомнила о каком-то деле на кухне, и вышла, оставив нетронутой полную чашку. Отец проводил её взглядом, и пока за ней не закрылась дверь, в столовой было слышно только, как ветер Пустоши беззвучно треплет на экране чёрные волны. Потом он снова повернулся ко мне так, будто ничего не произошло.

— Вечером приём. Вольские, Штайны, Ганы. Ника будет. Постарайся выглядеть счастливым. Это не так сложно, как кажется.

— Постараюсь.

— И ещё. — Он отпил кофе. — Ты опять смотришь мне в лоб. Как будто там что-то написано.

Пальцы у меня под столом похолодели так, словно я опустил их в ледяную воду, и я почувствовал, как у основания черепа, там, где сидит Печать, коротко стукнул пульс. Шесть лет я учился не смотреть выше бровей, и шесть лет у меня это получалось. Голос, к счастью, не подвёл.

— Задумался.

— О чём?

— О вещах, которые нельзя объяснить.

Он улыбнулся, по-настоящему, впервые за всё утро, и на секунду стал похож на того человека, которого я помнил с детства. Лет в шесть он сажал меня на колени в галерее под Куполом и показывал город, уходящий вниз этажами, словно лестница в темноту, и однажды спросил, знаю ли я, почему мы живём наверху. Я не знал, и он ответил сам, что дело не в том, что мы лучше других, а в том, что мы живём дольше, ведь Остров не может каждые пятьдесят лет учиться всему заново и кто-то обязательно должен помнить.

— Правильные мысли, — сказал он теперь. — Думай их дальше.

Над его головой стояло всё то же число, и последняя цифра с тихим, слышным только мне щелчком провернулась на единицу, пока он говорил. На браслете коротко завибрировало сообщение от Ники: «Жду вечером и запрещаю тебе быть серьёзным». Я убрал руку под стол, сам не зная зачем, и до конца завтрака так и не смог согреть пальцы.

* * *

После завтрака я поднялся в сад, который у нас разбит на верхней террасе под самым Куполом. В ясные дни, а в Шпилях все дни ясные, там кажется, будто над головой нет ничего, кроме неба, белёсого у краёв и густо-синего в зените. Купол становится заметен, только если долго смотреть в одну точку: тогда проступает тонкая, едва различимая сетка силовых рёбер, похожая на прожилки стрекозиного крыла.

Смотреть в одну точку я любил с детства и в такие минуты всегда думал об одном и том же. Восемьдесят лет снаружи бушуют бури, восемьдесят лет ветер несёт на Купол пепел, радиоактивную пыль и сажу сгоревших городов, и за всё это время на нём не появилось ни пылинки, ни пятна, ни серого налёта по краю. Купол оставался чище окон в нашей столовой, которые Тоня протирала дважды в день, и в школе нам объясняли это самоочищающимся покрытием, гордостью довоенной инженерии и последним, что успели сделать учёные, прежде чем мир сгорел. Мне больше нравилось думать, что каждую ночь Купол моет само небо, и этой детской мысли я не стыдился.

На фонарном столбе у розовых кустов с тихим жужжанием повернулась камера, хотя в саду не было никого, кроме меня. Я привычно отметил это краем сознания и тут же забыл, потому что увидел Ефима. Он стоял на коленях у большого куста белых роз в дальнем углу террасы, как стоял почти каждое утро, сколько я себя помнил, и от него пахло землёй, табаком и раздавленными стеблями.

Ефим работал у нас садовником всю мою жизнь и, наверное, задолго до моего рождения. Это он научил меня прививать розы, когда мне было восемь, меня и Марка, который тогда ходил за мной хвостом, а может быть, я за ним, теперь уже трудно сказать. Мы прятались от взрослых за этими самыми кустами, Ефим гонял нас, ругаясь словами, которых в Шпилях больше никто не произносил, а потом тайком угощал кислыми яблоками из оранжереи, от которых сводило скулы.

Я подошёл ближе, и слова приветствия застряли у меня в горле. Над его головой стояла девятка, чёрная и пульсирующая, словно сердце, которое бьётся слишком медленно. Ни разу за шесть лет я не видел чёрного числа так близко, на расстоянии вытянутой руки.

9

Я остановился и пересчитал дважды, будто от пересчёта что-то могло измениться: девять шагов при ровном Шаге означали меньше часа, пятьдесят пять или пятьдесят шесть минут. Во рту вдруг пересохло, и язык прилип к нёбу, как бывает перед экзаменом. Ефим тем временем срезал увядший бутон, бросил его в корзину и выпрямился, придерживая рукой поясницу, а потом заметил меня, и морщины на его лице сложились в знакомый рисунок.

— А, Александр Викторович. Проститься с розами пришли? Завтра вы человек взрослый, вам не до роз будет.

— Доброе утро, Ефим.

— Доброе, коли не шутите. — Он потёр висок и поморщился. — Гудит с самого утра. Будто улей в голове поселился.

Я молчал, потому что не мог ему ничего сказать. Сказать означало выдать себя, и это стало бы самым честным поступком в моей жизни и одновременно самым глупым. Кроме того, у нас не принято говорить о таком вслух даже с теми, кто сам видит свой номер в зеркале, ведь это так же неприлично, как обсуждать при человеке его болезнь.

Ефим посмотрел на меня внимательно, по-стариковски, снизу вверх, и я не выдержал его взгляда. Мне показалось, что он видит меня насквозь, вместе с тем, что я пытаюсь спрятать. Старик хмыкнул и покачал головой.

— Да ты не бледней так, будто покойника увидел. Хотя, может, и увидел. — Он помолчал. — Я со вчерашнего вечера на чёрном. Сам в зеркало глядел. Тебе вот первому говорю.

Колени у меня стали ватными, и я опустился на скамейку у куста, чувствуя сквозь ткань брюк, как нагрелось на солнце её дерево. Вслух о таком не говорят, а он сказал это просто и буднично, словно сообщил, что к вечеру соберётся дождь. Мне хотелось спросить, зачем он рассказал об этом именно мне, и я даже открыл рот, однако слова застряли где-то в горле.

— Чего глядишь? — Он усмехнулся. — Кому ж ещё сказать, как не тебе. У вас, у Ракитиных, всё на лицах написано, кто читать умеет. По тебе вон видно, что жалеешь старика. Отец твой научился прятать. А ты пока нет.

8

— Вам надо лечь. Я позову Арно, он…

— Чтоб я последний час на койке в служебном ярусе в потолок глядел? Нет уж. — Ефим покачал головой. — Слыхал такое: чёрным не отказывают?

— Слыхал.

— Ну вот. — Он протянул мне секатор рукоятью вперёд. — Доделай куст. Не хочу, чтоб новый садовник его кромсал. Новые всегда кромсают.

Секатор был ещё тёплым от его руки, а рукоять, отполированная за годы его ладонью, лежала в моей неудобно, словно чужая обувь. Я взял его осторожно, как берут что-то хрупкое, и встал на колени на его место, где земля ещё хранила вмятины от его коленей. Ефим сел на скамейку, вытянул ноги, сложил на животе тяжёлые коричневые руки и подставил лицо солнцу.

— Над почкой, что наружу смотрит. Под углом. Помнишь?

— Помню.

— Ну так режь.

7

Я резал сухие ветки и слепые побеги, не давшие бутонов, и ветку, которая росла внутрь куста. Розы пахли тяжело и сладко, шипы цеплялись за рукава серого костюма, и вскоре у меня заныли колени. Каждый срез отзывался в ладони коротким сухим хрустом, и мне казалось, что я слышу его громче, чем следовало бы.

— Эту оставь, — говорил Ефим, не открывая глаз. — Эту под корень. Ты чего её жалеешь? Она тебе не родня.

6

— Куст этот старше тебя, — сказал он немного погодя. — При старом хозяине привезли, ещё до твоего отца. Прутик был, думал, не примется. А он взял и принялся.

— При каком старом хозяине?

Ефим долго молчал, и в тишине было слышно, как где-то в оранжерее журчит поливалка и как гудит над кустом пчела. Мне показалось, что он жалеет о сказанном, хотя лицо его оставалось спокойным и сонным. Потом он открыл глаза и посмотрел не на меня, а на фонарный столб.

— Был тут до вас другой. Неважно. Режь.

5

Я резал, стараясь не смотреть на него и всё равно поглядывая каждую минуту, как смотрят на часы в зале ожидания. Ефим, кажется, задремал, но потом снова открыл глаза и посмотрел на меня долго и странно, будто впервые заметил во мне что-то такое, чего раньше не видел. Под его взглядом мне стало неловко, как в детстве, когда он ловил нас с Марком на краже яблок.

— Вы с тем мальчонкой тут прятались, — сказал он. — С Марком. Я вас гоняю, а вы обратно лезете, как воробьи.

— Помню.

— Ты на него похож стал. — Он произнёс это медленно, будто пробовал слова на вкус. — Сильно похож. Со спины увижу, сердце ёкает. Думаю: вернулся.

Секатор в моей руке остановился сам собой, и колючая ветка медленно выпрямилась, царапнув мне запястье. Я смотрел на тонкую красную полоску на коже и не чувствовал боли. Ответ прозвучал ровнее, чем я ожидал.

— Они уехали на Средние. Мать с детьми. Шесть лет назад.

4

— Уехали, — повторил Ефим.

Он повторил это слово без вопроса и без согласия, так, как повторяют чужое слово на незнакомом языке, пробуя, не означает ли оно чего-нибудь другого. Потом он поднял глаза на фонарный столб, где камера по-прежнему смотрела на нас, и её красная точка не мигала. Мне вдруг стало холодно на солнце, и холод этот начинался где-то между лопатками.

3

— Я вот что скажу, пока могу. — Голос его стал тише и как-то моложе, без привычной ворчливости. — Шесть лет думал, говорить тебе или нет. Думал, не моё дело. А теперь, выходит, ничьё уже не дело, кроме моего.

— Что?

— Мать его никуда не уезжала. Её…

Ефим замолчал на полуслове, и я видел, что он вовсе не передумал, а просто потерял нить, как теряют её очень уставшие люди. Он потёр висок и поморщился, потому что улей в его голове, наверное, гудел теперь так громко, что заглушал мысли. Я положил секатор на землю и подался к нему, чувствуя, как бьётся пульс в разодранном запястье.

2

— Ефим. Что с ней сделали?

Он посмотрел на меня растерянно, как человек, проснувшийся в незнакомой комнате, а потом перевёл взгляд на куст. Лицо его разгладилось, и в нём не осталось ничего, кроме спокойной стариковской гордости за работу. Мне стало ясно, что ответа я уже не получу.

— Хорошо режешь, — сказал он. — Под углом. Как я учил. Ты доделай. Там ещё три ветки. И нижнюю не жалей.

Я взял секатор дрожащими руками и срезал три ветки одну за другой, а потом и нижнюю. Делал я это очень медленно, потому что мне казалось, будто ничего не случится, пока я режу, и этой детской мысли я тоже не стыжусь. Сухой хруст каждого среза отдавался у меня в зубах.

1

— Хорошо сегодня, — сказал Ефим, откинувшись на спинку скамейки. — Тепло.

Я сидел на коленях в земле и смотрел на единицу над его головой, зная, что впереди шесть минут, плюс-минус. Мне было неизвестно, что делать с этими шестью минутами: можно было сказать ему что-нибудь важное, можно было ещё раз спросить про мать Марка, можно было позвать свою мать, которая наверняка знала бы, какие слова говорят в такую минуту. Я не сделал ничего из этого и просто сидел, глядя, как поднимается и опускается его грудь под выцветшей рубашкой.

Солнце лежало на его лице, а пчела, одна из тех, что разводят в оранжерее, села ему на рукав и медленно поползла к локтю. Ефим не стал её сгонять. Его губы чуть шевельнулись, словно он собирался что-то сказать и ещё выбирал слова.

— Саша, — произнёс он вдруг, не открывая глаз.

Так меня звали только мать и Марк, а Ефим за всю жизнь ни разу не назвал меня этим именем. Я замер с секатором в руке, боясь пошевелиться и спугнуть то, что он собирался сказать. Пчела доползла до его локтя и остановилась.

— Ты не верь им, когда…

0

Единица мигнула, и я увидел это так ясно, как никогда в жизни ничего не видел. Чёрная цифра дрогнула, сменилась нулём, и ноль погас, причём не исчез, а именно погас, как гаснет лампа с перегоревшей нитью: короткая вспышка, а за ней темнота. Мне показалось, что одновременно с этим где-то очень далеко, на самом краю слуха, коротко и сухо щёлкнуло.

Ефим не вздрогнул, не захрипел и не схватился за сердце. Его грудь просто поднялась и больше не опустилась, а рука, лежавшая на животе, медленно съехала в сторону. Пчела повертелась на месте, словно что-то почувствовала, и улетела обратно к розам.

Над его головой больше ничего не было, совсем ничего, только солнечный свет и синее небо за прозрачным Куполом. Мне никогда прежде не доводилось видеть человека, над которым ничего нет. Я смотрел на эту пустоту, и она казалась мне страшнее любого чёрного числа.

Не знаю, сколько я так просидел, но, наверное, недолго, потому что уже через четыре минуты на террасу поднялись двое из службы дома в серых комбинезонах, с лёгкими носилками и белой простынёй. Они не бежали, им незачем было бежать, ведь когда кто-нибудь в доме доходит, Очередь сама присылает уведомление на служебный пульт. Это удобно, потому что никто не лежит неделями в пустой квартире и никто не остаётся непохороненным, и это тоже считается частью милосердия Протокола.

— Соболезнуем, Александр Викторович, — сказал старший, мельком глянув на меня.

Он посмотрел на мои руки в земле, на секатор и на куст, однако ничего не спросил. Вдвоём они переложили Ефима на носилки привычными, почти нежными движениями и накрыли простынёй, после чего старший отметил что-то в планшете, а младший поднял корзину с обрезанными ветками и унёс её с собой, наверное, тоже по протоколу. Камера на фонарном столбе с тихим жужжанием проводила носилки до самой двери.

Я поднялся на затёкшие ноги и чуть не упал, а потом принялся отряхивать брюки серого костюма, хотя это было бесполезно, потому что земля въелась в ткань. Мать расстроится, отец скажет, что наследнику не пристало стоять на коленях в грязи, подумал я и тут же устыдился того, что думаю об этом сейчас. Ефима только что унесли под белой простынёй, а я беспокоился о пятнах на брюках, словно это было самым важным из всего, что случилось сегодня утром.

Через шесть минут на террасу поднялся молодой парень в зелёном фартуке, помощник Ефима, которого, кажется, звали Ильёй, и над ним стояло белое число лет на сорок. Он неловко кивнул мне, подобрал с земли секатор, который я выронил, сам того не заметив, и шагнул к белому кусту. Я остановил его, не успев подумать.

— Этот я доделал сам. Его не трогай.

— Хорошо, Александр Викторович.

Он послушно отошёл к соседнему кусту и принялся резать неправильно, слишком прямо и торопливо, не над той почкой. Новые всегда кромсают, сказал бы Ефим, и от этой мысли у меня впервые за всё утро защипало в глазах. Я отвернулся, чтобы Илья не увидел моего лица, и долго смотрел на город внизу, уходящий этажами в темноту.

Через шесть минут сад забыл о своей потере, а где-то на Острове в это же время дошёл следующий человек, имени которого я не знал. Имя Ефима я знал, и в этом заключалась вся

разница, которая тогда казалась мне огромной. Я стоял у белого куста и думал сразу о двух вещах: о том, что Ефим так и не договорил, и о том, что завтра в десять мне исполнится восемнадцать и Эдуард Ган проведёт всё сам.

В голове снова и снова звучали его последние слова о матери Марка, которая никуда не уезжала, и о том, чему мне не следует верить. Мне хотелось понять, когда именно не следует им верить и кого он имел в виду, но спросить было уже не у кого. Камера на столбе медленно повернулась и остановилась на мне.

Глава 2

К восьми часам вечера Купол над Шпилями начинает темнеть, и делает это так же точно, как утром светлеет: сначала небо у краёв наливается медью, потом лиловым, а к девяти над садами остаётся только глубокая синева с редкими искрами силовых рёбер. Я смотрел на этот закат из окна своей комнаты и думал о том, что Ефим видел его тысячи раз, а сегодня не увидел. Тело унесли ещё утром, на кухне о нём говорили шёпотом до обеда, а к вечеру перестали говорить совсем, потому что в доме готовились к приёму и всем было некогда.

Весь день я пытался найти кого-нибудь, кто сказал бы о нём хоть слово. Арно, когда я заглянул на кухню, вытер руки о фартук, сказал, что Ефим прожил своё с пользой, и вернулся к соусу. Тоня, пробегая мимо с охапкой скатертей, только сжала мне локоть, и в этом пожатии было больше, чем во всех словах, которые я услышал за день.

В половине восьмого ко мне постучала мать. Она вошла с маленькой бархатной коробочкой в руках и остановилась у двери, словно не была уверена, что ей можно войти. Платье на ней было серебристо-серое, под цвет Купола в сумерках, а светлые волосы она убрала так гладко, что лицо казалось старше и строже.

— Запонки, — сказала она и протянула коробочку. — Отцовские. Он хотел, чтобы ты надел их сегодня.

Я открыл крышку и увидел два тёмных камня в оправе из белого металла, тяжёлых и холодных на ощупь. Мать подошла ближе, взяла мою руку и сама начала продевать запонку в петлю манжета, хотя я давно умел делать это без её помощи. Пальцы у неё были холодными, а в комнате вдруг сильно запахло её духами, чем-то горьким и цветочным, что я помнил с самого детства.

— Мама, Ефим сегодня…

— Я знаю. — Она не подняла глаз от манжета. — Мне сказали.

— Я был с ним. До самого конца.

— Знаю, Саша.

Она закончила с первой запонкой и взялась за вторую, и я заметил, что её пальцы дрожат так, что металл никак не попадает в петлю. Мне хотелось рассказать ей всё: про куст, про пчелу, про последние слова Ефима о матери Марка. Вместо этого я молчал и смотрел на её склонённую голову, на тонкий пробор в светлых волосах, и не понимал, почему мне вдруг стало страшно.

— Он сказал странную вещь, — проговорил я наконец. — Про Марка. Про его мать.

Мать замерла, и вторая запонка так и осталась у неё в пальцах, не дойдя до петли. В тишине комнаты я слышал, как тикают крошечные часики у неё на запястье. Она смотрела на мой манжет так пристально, словно на нём было написано что-то, чего она не хотела читать.

— Сегодня не надо, — сказала она тихо. — Пожалуйста. Не сегодня. Завтра, после… — Она не договорила и всё-таки продела запонку. — Вот. Ты очень красивый. Совсем взрослый.

Она поцеловала меня в лоб, как в детстве, когда приходила пожелать спокойной ночи, и быстро вышла, не оглядываясь. Над её головой, когда она закрывала дверь, мелькнули белые цифры, и последняя из них, пока я смотрел, с тихим щелчком уменьшилась на единицу. Я долго стоял посреди комнаты с тяжёлыми камнями на запястьях и думал о том, что за весь разговор она так ни разу и не посмотрела мне в глаза.

* * *

Приём давали в Большой галерее, которая тянется вдоль всего верхнего этажа нашего дома под самым Куполом. Днём там гуляет солнце, а вечером, когда небо темнеет, под потолком зажигаются сотни крошечных светильников, и кажется, будто звёзды спустились пониже, чтобы посмотреть на гостей. Пол в галерее выложен белым камнем, таким гладким, что в нём

отражаются огни, платья и лица, и каждый, кто идёт по нему, идёт словно по тонкому льду над вторым, перевёрнутым залом.

Пахло воском, озоном и цветами, которые привезли из оранжерей Вольских, белыми и бледно-розовыми, с тяжёлым сладким запахом, напомнившим мне утренний сад. В дальнем конце галереи играли музыканты со Средних уровней, четверо в одинаковых тёмных костюмах, и звуки их скрипок поднимались к Куполу и возвращались оттуда чуть приглушёнными, словно эхо в пустой раковине. Гости разговаривали вполголоса, смеялись негромко, и весь зал гудел ровно и сыто, как гудит улей, в котором всё в порядке.

Я стоял рядом с отцом у входа, принимал поздравления и улыбался, а над головами гостей горели номера. За шесть лет я так и не привык к этому зрелищу на больших приёмах: сотня людей, и над каждым огромное белое число, семь цифр, восемь, у некоторых ещё больше. Белое море, ровное и спокойное, в котором не было ни одного жёлтого огонька, кроме тех, что висели над музыкантами в дальнем конце зала.

Над первой скрипкой, седым мужчиной с длинными пальцами, горело жёлтым **31 004**. Это означало четыре с половиной месяца жизни, а он играл так, будто у него впереди была вечность, и смотрел не на гостей, а куда-то вверх, под Купол. Я поймал себя на том, что считаю его оставшиеся дни под музыку, и отвернулся.

— Александр. — Отец положил руку мне на плечо, и я почувствовал сквозь ткань её тяжесть и тепло. — Вольские.

Арсений Вольский оказался таким, каким я помнил его всю жизнь: невысоким, плотным, с аккуратной седой бородкой и маленькими быстрыми глазами, которые всегда что-то подсчитывали. Он пожал мне руку коротко и сухо, как подписывают документ, и сказал, что рад видеть наследника Ракитиных в добром здравии. Над ним стояло **18 702 330**, и я подумал, что такое число, наверное, сложно уместить даже в голове бухгалтера.

— Завтра большой день, — сказал Вольский. — Хорошее вложение, Виктор. Очень хорошее.

— Арсений всё меряет вложениями, — отец едва заметно улыбнулся. — Даже детей.

— А чем же ещё их мерить? — Вольский пожал плечами. — Дети — лучшее, во что можно вложить время. Они возвращают с процентами.

Ника подошла ко мне сзади, когда я на минуту остался один у колонны, и закрыла мне глаза ладонями. Ладони у неё были прохладные и пахли чем-то цитрусовым, а браслет на запястье тихо звякнул у самого моего уха. Я узнал бы её и без этого, по смеху, который она пыталась удержать и не могла.

— Угадай кто.

— Самая несерьёзная девушка Острова.

— Неправильно. — Она убрала руки и развернула меня к себе. — Самая красивая. Серьёзность тут ни при чём.

Она действительно была красивой в тот вечер, и я помню это так ясно, будто смотрю на снимок. Тёмно-синее платье, открытые плечи, волосы цвета мёда, собранные так небрежно, что на это наверняка ушло два часа, и глаза, в которых всегда пряталась какая-нибудь шутка. Мы знали друг друга с тех пор, как научились ходить, и все в Шпилях давно решили за нас, что когда-нибудь мы станем парой Совета, а мы с этим не спорили.

Над её головой стояло **9 640 112**. Полгода назад, на следующий день после её восемнадцатилетия, её число вдруг выросло почти на два миллиона, и я тогда долго смотрел на неё, не понимая, что произошло. Спросить я не мог, потому что пришлось бы объяснять, откуда я это знаю, а этого я не объяснил бы никому, даже ей. Вопрос так и остался лежать во мне нетронутым, как письмо, которое боишься распечатать.

— Ты обещал не быть серьёзным, — сказала она, беря меня под руку. — А у тебя лицо, как на похоронах.

— Сегодня утром умер наш садовник. Ефим. Я был рядом.

Ника на секунду замолчала, и её пальцы на моём локте сжались чуть сильнее. Мимо нас прошёл официант с подносом, и бокалы на нём тонко звякнули друг о друга. Она проводила его взглядом, словно собиралась с мыслями.

— Прости. — Голос у неё стал мягче. — Он был старый?

— Старый. Он учил нас с Марком прививать розы.

— С Марком? — Она чуть нахмурилась, будто вспоминая. — А, тот мальчик из прислуги. Я его почти не помню. Они ведь уехали куда-то?

— Уехали, — сказал я.

Слово прозвучало у меня во рту так же странно, как утром у Ефима. Ника, кажется, ничего не заметила, потому что тут же заговорила о другом: о платье Маргариты Штайн, о новом оранжерейном сорте роз, о том, что Лев опять задаётся. Я слушал её и кивал, и мне было хорошо и спокойно рядом с ней, как бывает хорошо и спокойно в тёплой комнате, когда за окном идёт дождь.

Она поправила волосы, и широкое золотое колье на её шее чуть сдвинулось вбок. Сбоку на шее, под самым ухом, там, где обычно лежал гладкий золотой обод, я увидел тёмное пятно, похожее на синяк, только странный, словно под кожей проступила тонкая сетка чёрных нитей. Ника заметила мой взгляд и быстро вернула колье на место.

— Обожглась щипцами для волос, — сказала она и засмеялась. — Я ужасно неловкая, ты же знаешь.

— Знаю.

— Слушай. — Она вдруг понизила голос и наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал её дыхание на щеке. — Про завтра. Ты не бойся, ладно? Это как прививка. Чуть-чуть больно, а потом всё хорошо, правда. Главное, не смотри в соседнюю…

Она осеклась на полуслове и прикусила губу, а её дыхание у моей щеки на мгновение остановилось. Я почувствовал, как напряглась её рука на моём локте. Скрипки в дальнем конце зала как раз взяли высокую ноту, и она повисла над галереей, долгая и тонкая.

— В соседнюю что?

— Ничего. — Ника снова улыбнулась, но улыбка вышла неровной, и она сама это почувствовала. — Не смотри по сторонам, вот что. Смотри в потолок и думай обо мне. Договорились?

— Договорились.

Она поцеловала меня в щёку и упорхнула к подругам, на ходу поправляя браслет, а я остался у колонны и смотрел ей вслед. Над её головой плыли белые цифры, ровные и спокойные. Почему-то я никак не мог перестать думать о слове, которое она не договорила, и о том, что соседним может быть только то, что стоит рядом.

Льва Штайна было слышно раньше, чем видно. Он стоял в кругу молодых людей у фонтана посреди галереи и рассказывал что-то, размахивая бокалом, а вокруг хохотали так громко, что даже музыканты на секунду сбились. Увидев меня, он раздвинул слушателей плечом и пошёл навстречу, широкий, светловолосый, в новенькой чёрной форме с серебряным кантом.

— Наследник! — Он хлопнул меня по спине так, что я чуть не выронил бокал. — Последний вечер свободы, а? Завтра станешь скучным, как твой отец.

— Ты в форме, — сказал я.

— Заметил? — Лев одёрнул китель и расправил плечи. — Ищейки. Третий день как приняли. Мать была против, а я сказал: хочешь, чтобы сын всю жизнь сидел в Совете и подписывал бумажки? Не дождёшься.

Он говорил громко и быстро, как всегда, и привычно похрустывал костяшками пальцев, перекатывая их по одной. Мы дружили с детства, если можно назвать дружбой то, что двое

мальчишек всё время соревнуются, кто быстрее, выше и дальше. Лев выигрывал почти всегда, и я давно перестал на него за это обижаться.

Над ним стояло **9 118 406**. Его Обновление прошло два года назад, и я помнил, как тогда его число тоже прыгнуло вверх, а он неделю ходил в водолазке с высоким горлом и никого не пускал на тренировки. Тогда я решил, что он просто стесняется синяков после неудачного падения с турника.

— Ищейки ищут людей, — сказал я. — Кого вы ищете?

— Всех, кого надо. — Лев подмигнул. — Должников, беглых, тех, кто прячет номера. Ты не представляешь, сколько внизу всякой грязи. Мы как санитары, понимаешь? Чистим.

— Звучит весело.

— Ещё как. — Он понизил голос и кивнул куда-то в дальний конец зала. — Видишь того, у окна? Это мой шеф. Гончий. Лучший охотник на Острове. Говорят, он ни разу никого не упустил. Ни разу, Саша, за тридцать лет.

Я посмотрел туда, куда он кивнул, и не сразу понял, что вижу. У дальнего окна галереи, чуть в стороне от всех, стоял высокий худой человек в тёмно-сером костюме без всяких украшений. Ему могло быть лет пятьдесят, может быть, больше, и лицо у него было спокойное, вежливое и совершенно незапоминающееся. Он держал в руке бокал, но не пил, и вокруг него, в шумной и тесной галерее, было пусто, словно гости обходили его по невидимой дуге, сами того не замечая.

Над его головой не было номера, точнее, номер был, но я не мог его прочитать. Цифры расплывались, как будто кто-то провёл пальцем по невысохшей краске, и сквозь эту муть не проступало ни одного знака. Я моргнул, потом ещё раз, но смазанное пятно над головой Гончего никуда не делось, и от него у меня по спине пробежал холод, похожий на тот, утренний, между лопатками.

— Эй. — Лев толкнул меня локтем. — Ты чего застыл?

— Ничего. Устал.

— Ну так выпей. — Он чокнулся со мной и опрокинул свой бокал. — За Ищеек! И за то, чтобы завтра ты не грохнулся в обморок, как младший Ордынский в прошлом году.

Он захохотал и вернулся к своему кругу у фонтана, а я ещё долго смотрел на человека у окна. Мне казалось, что он стоит неподвижно уже очень давно, может быть, весь вечер. Потом он медленно повернул голову и посмотрел прямо на меня через всю галерею, и я отвёл глаза первым.

Отец разговаривал с Маргаритой Штайн у высокого окна, за которым темнело ночное небо, и подозвал меня взглядом. Маргарита была самой высокой женщиной в Совете и самой красивой, если красота может быть холодной, как стекло: тёмные волосы, гладко зачёсанные назад, длинная шея, платье цвета мокрого асфальта. Она отвечала за экраны, за Сводки и за всё, что жители Острова видят каждое утро, и о ней говорили, что она никогда не повторяет одну мысль дважды.

— Александр. — Она протянула мне руку для поцелуя, и её пальцы были сухими и лёгкими. — Мои поздравления. Виктор говорит, вы смотрите Сводку каждое утро.

— Всю жизнь.

— И что вы о ней думаете?

Вопрос застал меня врасплох, потому что никто и никогда не спрашивал меня, что я думаю о Сводке. Сводку не обсуждали, как не обсуждают погоду или восход солнца: она просто была. Отец смотрел на меня с лёгкой улыбкой, и я понял, что это что-то вроде экзамена.

— Бури очень похожи друг на друга, — сказал я.

Маргарита рассмеялась, коротко и искренне, и посмотрела на отца так, будто я сказал что-то очень остроумное. Смех у неё был неожиданно тёплым для такого холодного лица. Отец не засмеялся, только чуть приподнял уголок рта.

— У мальчика хороший глаз. — Она снова повернулась ко мне. — Конечно, похожи. Никто не станет смотреть шесть часов пепла и ветра, Александр, даже ради собственной безопасности. Мы берём записи с внешних камер и монтируем их. Самые выразительные кадры, лучший ракурс, нужная длительность. Сегодняшняя буря, например, вышла очень удачно, особенно склейка на третьей минуте.

— Монтируете?

— Людям не нужна правда во всех подробностях, — сказала она спокойно, как говорят о самых обычных вещах. — Людям нужна картинка, которую они поймут. Хорошая история с понятным началом и понятным концом. Если вы когда-нибудь войдёте в Совет, вы это ещё оцените.

— Маргарита, — мягко сказал отец.

— Что? — Она подняла тонкую бровь. — Мальчику завтра восемнадцать, Виктор. Пора знать, как делается погода.

Над ней стояло **16 377 902**, и последняя цифра провернулась, пока она смеялась. Я тоже улыбнулся, потому что так было положено, и подумал, что в её словах нет ничего страшного: конечно, Сводку монтируют, ведь никто действительно не стал бы смотреть шесть часов пепла. Слово «склейка», тем не менее, почему-то осталось у меня в голове, как заноза, которую не видно, но которую чувствуешь всякий раз, когда берёшься за что-нибудь рукой.

Эдуард Ган нашёл меня сам, у столов с закусками, где я пытался заставить себя съесть хоть что-нибудь. Он подошёл неслышно, на мягких подошвах, и положил мне на плечо сухую тёплую руку, словно мы с ним были старыми друзьями. Ган был самым старым человеком, которого я знал: маленький, сгорбленный, совершенно седой, с добрыми морщинами вокруг глаз и голосом, похожим на шелест бумаги.

— Александр. — Он улыбнулся, и улыбка у него была как у доброго деда на детской картинке. — Как вы себя чувствуете накануне?

— Хорошо, спасибо.

— Хорошо. — Он кивнул, будто сделал пометку в карте. — А голова? Не беспокоит? Мигрени, давление в висках?

— Нет.

— Совсем? — Он взял меня за запястье, привычно, как берут врачи, и я почувствовал, как его пальцы легли на пульс. — Это редкость в вашем возрасте. У большинства молодых людей перед Обновлением болит голова. Нервы, знаете ли.

Его пальцы были тёплыми и очень лёгкими, и держали они меня так бережно, что вырвать руку казалось грубостью. Я стоял и чувствовал, как под этими пальцами стучит моя кровь, и мне казалось, что Ган слушает не пульс, а что-то совсем другое. Над ним горело **27 450 118**, самое большое число, которое я видел в своей жизни.

— А зрение? — спросил он всё так же мягко. — Не бывает странностей? Пятна, вспышки, ощущение, что видите что-то лишнее?

Мне стоило огромного труда не посмотреть ему поверх головы, туда, где горело его огромное число. Пульс под его пальцами, наверное, подпрыгнул, и я постарался дышать ровно. Шесть лет тренировки ещё никогда не казались мне такими короткими.

— Нет, — сказал я. — Всё как обычно.

— Как обычно, — повторил Ган и отпустил моё запястье. — Прекрасно. Значит, завтра посмотрим на вас поближе. Ничего не бойтесь, Александр. Я провёл больше Обновлений, чем кто-либо на Острове, и ни разу никого не потерял.

Он похлопал меня по руке и отошёл, мелко переступая, к группе стариков у фонтана. Я смотрел ему вслед, и запястье, там, где лежали его пальцы, ещё долго хранило их сухое тепло. Мне казалось, что я только что соврал человеку, который заранее знал ответ.

Аду Ган я заметил не сразу, потому что она стояла в стороне, в нише у дальнего окна, почти на том же месте, где весь вечер стоял Гончий, только теперь его там уже не было. Ей было лет двадцать семь, она работала в лаборатории отца и на приёмах всегда держалась в тени, с одним бокалом, который не допивала до конца. Тёмные волосы, убранные просто, серое платье без украшений и умные усталые глаза человека, который мало спит.

Она смотрела на меня, и я не сразу понял, что не так с её взглядом. На меня весь вечер смотрели с любопытством, с одобрением, с завистью, кто-то оценивающе, как Вольский. Ада смотрела с жалостью, и это было так неожиданно, что я подошёл к ней прежде, чем успел решить, стоит ли.

— Добрый вечер, Ада.

— Добрый вечер, Александр. — Голос у неё был тихий и низкий. — С днём рождения. Заранее.

— Спасибо.

Она поднесла бокал к губам, и я заметил её пальцы: на подушечках темнели мелкие пятна, бурые и неровные, похожие на следы от химических ожогов. Ада перехватила мой взгляд и, не смущаясь, опустила руку. От неё едва уловимо пахло чем-то аптечным и металлическим, совсем не похожим на духи остальных гостей.

— Реактивы, — сказала она. — Издержки профессии. Вы завтра будете у нас в лаборатории, я буду ассистировать отцу.

— Вы знаете, что там будет?

Она помолчала, глядя мимо меня на гостей, на белое море номеров, которого она не видела. Пальцы с бурыми пятнами медленно поворачивали бокал за ножку. Мне показалось, что она решает, сколько мне можно сказать.

— Знаю, — сказала она наконец. — Мне жаль вашего садовника. Отец получает уведомления обо всём, что происходит на территории Шпилей, я видела утром.

— Он был хорошим человеком.

— Да. — Ада посмотрела мне прямо в глаза, и в её взгляде снова мелькнуло то, что я принял за жалость. — Здесь редко бывают хорошие люди, Александр. Берегите тех, кто остался.

Над её головой стояло **3 980 214**. Это было совсем немного для дочери члена Совета, меньше пятидесяти лет, и последняя цифра провернулась, пока мы говорили, так же ровно, как у моей матери. Ада кивнула мне и ушла вглубь ниши, а я стоял и думал, почему из всей сотни гостей в этой галерее только у двух женщин номера просто уменьшаются, как у обычных людей.

В десять часов музыка смолкла, и отец поднялся на невысокий помост у фонтана с бокалом в руке. Гости затихли и повернулись к нему, и в галерее стало так тихо, что было слышно, как журчит вода в чаше и как потрескивают светильники под Куполом. Свет падал на отца сверху, и седина на его висках казалась серебряной, а лицо спокойным и почти молодым.

— Восемнадцать лет назад, — сказал он, — я держал на руках сына и думал о том, какое время ему достанется. Время — это всё, что у нас есть. Остров научил нас этому дорогой ценой. Завтра мой сын пройдёт Обновление и станет одним из нас. Одним из тех, кто помнит. Одним из тех, кто держит.

Он поднял бокал, и сотня рук поднялась вместе с ним. Светильники под Куполом отразились в сотне бокалов, и на секунду галерея вспыхнула, словно в ней разом зажгли сотню маленьких свечей. Я поднял свой бокал последним.

— За тех, кто держит небо.

— За тех, кто держит небо, — повторила галерея нестройным хором.

Я пил вместе со всеми, и вино было терпким и холодным, а над головами гостей горели огромные белые числа, и ни одно из них не дрогнуло. Только в дальнем конце зала, над седым скрипачом с длинными пальцами, жёлтая цифра провернулась на единицу, пока он стоял, опу-

стив смычок, и смотрел вверх, под Купол. Мне показалось, что кроме меня этого не видел никто, и что если бы даже видели, им было бы всё равно.

После тоста отец подозвал меня к себе и вручил подарок: небольшой предмет, завёрнутый в тёмную ткань. Я развернул её и увидел старинные песочные часы в оправе из тёмного дерева, очень похожего на раму моего зеркала, с колбами из чуть желтоватого стекла. Песок внутри был не белым, как в школьных часах, а серым, почти пепельным.

— Шесть минут, — сказал отец негромко, только для меня. — Ровно шесть. Им больше ста лет. Мне подарил их мой отец в день Обновления.

— Спасибо.

— Чтобы ты помнил, сколько стоит время. — Он положил ладонь мне на затылок, туда, где под кожей сидела Печать, и задержал её на секунду. — Завтра ты поймёшь, что я имею в виду.

* * *

Гости разъезжались почти до самой полуночи. Я стоял у выхода из галереи рядом с родителями, пожимал руки и благодарил, и улыбка к концу вечера стала такой привычной, что я перестал её чувствовать. Ника поцеловала меня на прощание и шепнула, что будет думать обо мне завтра в десять, а Лев хлопнул по плечу и посоветовал не падать в обморок.

Гончий покидал галерею самым последним из гостей. Он шёл через опустевшую галерею неторопливо, и его шаги по белому камню звучали странно тихо, словно он ступал не по полу, а по воздуху над ним. Отец кивнул ему, коротко и сдержанно, как кивают человеку, с которым давно знакомы и которого предпочли бы не знать.

Гончий остановился передо мной на расстоянии вытянутой руки. Вблизи его лицо оказалось таким же незапоминающимся, как издали, и я понял, что не смогу описать его, даже если меня попросят: обычный нос, обычный рот, серые глаза, в которых ничего не отражалось. Над его головой по-прежнему плыло мутное пятно, и смотреть на него вблизи было почти больно, как смотреть на солнце сквозь закопчённое стекло.

— Хорошего вам завтра, Александр Викторович, — сказал он вежливо и негромко. — Постарайтесь его запомнить.

Он слегка поклонился и вышел, и в галерее сразу стало как будто теплее. Мать рядом со мной тихо выдохнула, словно всё это время задерживала дыхание. Я заметил, что сжимаю кулаки, и с трудом разжал пальцы.

— Кто это? — спросил я у отца, когда дверь за ним закрылась.

— Гончий. — Отец смотрел на закрытую дверь. — Он работает на Совет.

— Лев сказал, что он ни разу никого не упустил.

— Лев много говорит. — Отец повернулся ко мне, и лицо у него было непроницаемое. — Тебе не нужно с ним разговаривать, Александр. Никогда. Иди спать.

* * *

В своей комнате я поставил песочные часы на подоконник и долго смотрел на них, не включая свет. Купол над Шпилями был тёмным, почти чёрным, и в стекле колб отражались далёкие искры силовых рёбер, похожие на звёзды. Внизу, под нами, этажами уходил в темноту город, и где-то там, на Средних уровнях, а может быть, ещё ниже, седой скрипач ехал домой в вагоне поезда, считая или не считая свои четыре месяца.

Я перевернул часы, и серый песок тонкой струйкой потёк вниз. Он сыпался беззвучно, однако мне казалось, что я слышу его шорох, сухой и бесконечный, как шелест бумаги в голосе Эдуарда Гана. Шесть минут, сказал отец, ровно шесть, и где-то на Острове, пока они текут, дойдёт ещё один человек, которого я никогда не узнаю.

Я сидел на подоконнике и смотрел, как пепельный песок засыпает дно нижней колбы, и думал о слове «соседнюю», которое не договорила Ника, и о том, что же будет стоять рядом со мной завтра в десять. О склейке на третьей минуте. О сухих тёплых пальцах на моём пульсе

и о вопросе про лишнее, которое я вижу. Последняя песчинка упала, однако я не стал переворачивать часы снова и долго сидел в темноте, слушая тишину, в которой больше нечего было считать.

Глава 3

В половине второго ночи я понял, что не усну. Песочные часы стояли на подоконнике пустые сверху и полные снизу, и в темноте их колбы казались двумя каплями, которые никак не решатся упасть. Я лежал поверх покрывала, не раздеваясь, в рубашке с отцовскими запонками, и слушал, как под потолком гудит вентиляция, ровно и терпеливо, словно где-то в стене дышит большое спящее животное.

Каждый раз, закрывая глаза, я видел одно и то же: скамейку у белого куста, пчелу на выцветшем рукаве и пустоту над головой человека, которого я знал всю жизнь. Потом пустоту сменяло смазанное пятно над Гончим, а его сменяла рука Ники, торопливо возвращающая колье на место. Мысли бегали по кругу, как бегают в клетке белые мыши из школьной лаборатории, и каждый круг заканчивался в одном и том же месте, у слов, которые Ефим так и не договорил.

Мать его никуда не уезжала, сказал Ефим. Шесть лет я повторял себе другую фразу, гладкую и удобную, как речной камешек, и теперь эта фраза треснула, а из трещины тянуло холодом. Я сел на кровати, нащупал ногами туфли и некоторое время просидел так, держась за край матраса, будто собирался прыгнуть в воду с большой высоты.

* * *

Ночью наш дом становится другим. Днём он полон шагов, голосов, звона посуды и запаха хлеба, а ночью в нём остаются только длинные коридоры с приглушённым светом у самого пола, тени от колонн и тишина, в которой собственное дыхание кажется слишком громким. Ночники горят тускло-жёлтым, как глаза дремлющей кошки, и ковры глотают звук шагов так жадно, что идёшь словно по мху.

Над каждым поворотом висела камера, и каждая, когда я проходил под ней, поворачивала мне вслед свою красную точку. Раньше я этого почти не замечал, как не замечаешь собственного пульса, а этой ночью слышал каждый тихий жужжащий поворот и чувствовал затылком каждый взгляд. Я сказал себе, что наследник имеет право гулять по собственному дому в любое время суток, и от этой мысли мне не стало ни капли спокойнее.

Служебная лестница начиналась за неприметной дверью в конце восточного коридора, той самой, через которую прислуга носит наверх бельё и подносы. Ступени здесь были не мраморные, а из серого рифлёного металла, и перила под ладонью оказались холодными и чуть липкими от чьих-то рук. Последний раз я спускался по этой лестнице в двенадцать лет, и мне казалось, что за шесть лет она стала у́же и круче, хотя на самом деле это я стал выше.

* * *

Служебный ярус лежит под нашими жилыми этажами, как трюм под палубой корабля. Потолки здесь ниже, стены выкрашены в светлый практичный цвет, который не пачкается, а вместо ковров лежит пружинящее серое покрытие. Пахло здесь не хвоей, а стиральным порошком, крахмалом и остывающей плитой, и этот запах вдруг ударил меня в грудь так сильно, что я остановился посреди коридора.

Так пахло моё детство, во всяком случае та его половина, которая проходила внизу. Наверху были уроки, костюмы и разговоры взрослых, а здесь были мы с Марком, бегущие по этому самому коридору наперегонки, скользящие на поворотах в носках и врезающиеся в тележки с бельём. Здесь нас ругали громче, чем наверху, и любили проще, и кормили горячими сухарями прямо с противня, пока не видел старший повар.

В служебной кухне горел свет. Я заглянул в приоткрытую дверь и увидел Тоню: она сидела за длинным разделочным столом в старом вязаном кардигане поверх ночной рубашки, обхватив обеими ладонями большую кружку. Волосы у неё были распущены, и без своей дневной причёски она выглядела совсем девчонкой, младше меня.

— Ой. — Она вскочила так резко, что чай плеснул ей на пальцы. — Александр Викторович! Вы… Вам что-нибудь нужно? Я сейчас…

— Сиди, Тоня. Ничего не нужно.

— Как же ничего. — Она растерянно оглянулась на плиту, будто там мог лежать ответ. — Вы же никогда сюда не спускаетесь.

— Не спится.

Она посмотрела на меня внимательнее, и что-то в её лице смягчилось, словно она узнала во мне не хозяина, а просто человека, который бродит ночью по дому, потому что ему плохо. Потом она молча достала с полки вторую кружку, налила в неё чаю из пузатого чайника и поставила на стол напротив своей. Чай был крепкий и сладкий, совсем не такой, какой подают наверху, и пах чабрецом.

Над её головой горело жёлтым **58 168**. Утром там было на сто семьдесят с лишним шагов больше, и я поймал себя на том, что пересчитываю эти шаги в часы, как пересчитывал всю жизнь. Я заставил себя смотреть ей в переносицу и думать о чае.

— Вы из-за Ефима, — сказала Тоня. Это не был вопрос.

— И из-за него тоже.

— Мы тут вечером посидели немножко, когда гости разъехались. Арно достал бутылку, сказал, Ефим бы не обиделся. — Она грустно улыбнулась. — Только Арно сказал, что тот прожил с пользой, а потом сам же и заплакал. Вы не говорите никому, ладно? Наверху не любят, когда плачут.

— Не скажу.

Мы помолчали, не глядя друг на друга. Где-то в глубине яруса гудел холодильный шкаф, и капала вода из неплотно закрытого крана, редко и звонко, как метроном. Тоня поворачивала кружку на столе, оставляя на дереве мокрые круги, которые цеплялись один за другой.

— Тоня, ты помнишь Марка?

Кружка в её руках остановилась на полпути. Тоня подняла на меня глаза и сразу опустила их, словно я спросил о чём-то не совсем приличном. Мне показалось, что на кухне вдруг стало холоднее, хотя плита ещё не остыла.

— Помню немножко. Я же как раз тогда поступила, мне шестнадцать было. Хороший мальчик. Вы с ним вечно носились тут, как два щенка. — Она чуть улыбнулась. — Я вас поначалу путала. Честное слово. Со спины прямо одно лицо.

— А когда они уехали… Ты видела?

Тоня молчала так долго, что я решил, будто она не ответит. Она смотрела на свои пальцы, и я видел, как она прикусывает изнутри щёку, а потом она встала, подошла к двери и прикрыла её плотнее, хотя в коридоре никого не было. Половицы в коридоре не скрипнули, и всё-таки она постояла у двери, прислушиваясь, прежде чем вернуться к столу.

— Не видела. Слышала только. — Голос у неё стал тихим. — Ночью это было, под утро. Я тогда в общей спальне жила, у самого лифта. Слышу, лифт приехал, служебный, грузовой. Люди ходят, не наши, шаги тяжёлые. Девочка плакала. Лиза. Громко так, а потом сразу тихо, будто ей рот закрыли. И лифт ушёл вниз.

— Вниз.

— Ну так Средние же внизу. — Тоня быстро взглянула на меня. — Куда же ещё. Утром Арно сказал, что их перевели, и чтобы мы не болтали. Мы и не болтали. Вы не думайте, Александр Викторович, тут никто плохого не говорил. Просто… — Она замялась. — Просто про Анну Сергеевну потом больше никто ни разу не вспомнил. Как не было её. Я тогда ещё подумала, что так даже с покойниками не делают.

Анна Сергеевна, повторил я про себя. Я так давно не слышал этого имени, что не сразу понял, о ком идёт речь, хотя полжизни называл её тётей Аней и таскал у неё из корзины тёплые наволочки, чтобы строить из них крепость. Мне вдруг вспомнились её руки, красные от

горячей воды и крахмала, и то, как она гладила Марка по голове, проходя мимо, мимоходом, не останавливаясь. Меня она никогда не гладила, а смотрела всегда немного издалека, долго и странно, как смотрят на знакомое лицо в окне проходящего поезда.

— Их комнаты сейчас заперты? — спросил я.

— Так с тех пор и заперты. Хозяин велел. — Тоня посмотрела на меня испуганно. — Вы туда хотите? Ночью?

— Хочу.

— Ключа у меня нету. Ключ у Арно на доске, а доска под камерой.

— Мне не нужен ключ.

* * *

Комнаты, где жил Марк, находились в самом конце северного крыла служебного яруса, за поворотом, после которого коридор становился уже и темнее. Когда-то здесь жили несколько семей прислуги, но за шесть лет крыло опустело совсем: одних перевели в новый корпус у оранжереи, другие дошли, а новых сюда почему-то не селили. Ночники здесь горели через один, и между пятнами света лежали полосы такой густой темноты, что я ступал по ним осторожно, как по льду.

Дверь оказалась той самой, какую я помнил, светло-серой, с потёртой ручкой и маленькой вмятиной внизу, где Марк однажды пнул её ботинком, проиграв мне в шашки. Замок на ней был старый, механический, каких в доме почти не осталось, и Марк ещё в восемь лет показал мне, как его открыть без ключа. Нужно было приподнять ручку вверх до упора, навалиться плечом на дверь у самого косяка и повернуть. Я сделал всё это, и мне показалось, что мои руки помнят движение лучше, чем голова.

Замок щёлкнул сухо и коротко, почти как щёлкает цифра над головой, и дверь подалась внутрь. Изнутри пахнуло пылью, застоявшимся воздухом и чем-то ещё, едва уловимым, что я узнал раньше, чем успел назвать. Так пах крахмал тёти Ани, выветрившийся за шесть лет почти до конца, но всё-таки не до конца.

Я нашёл на стене выключатель, и под потолком загорелась слабая желтоватая лампа. Мебель стояла на своих местах под серыми чехлами, похожая на стадо спящих животных: стол, два стула, узкий шкаф и двухъярусная кровать у стены, на которой когда-то спали Марк и Лиза. Пол покрывал ровный слой пыли, такой нетронутый, что на нём за мной оставались чёткие следы, будто я первым ступил на свежий снег.

В углу под потолком висела камера. Я увидел её сразу, потому что её красная точка горела, ровная и немигающая, в комнате, куда шесть лет никто не входил. Она медленно повернулась, нашла меня и остановилась, и я подумал, что кто-то, наверное, забыл её отключить, ведь не может быть, чтобы все эти годы кто-то смотрел на пыльные чехлы и пустую кровать.

Отметки на дверном косяке я нашёл почти на ощупь, потому что лампа едва дотягивала до этого угла. Тонкие карандашные чёрточки шли снизу вверх по светлой краске, и возле каждой стояла буква: «М» слева и «С» справа. Марк измерял нас каждый год в день моего рождения, прикладывая к макушке толстую книгу, и каждый год записывал результат с серьёзностью землемера.

Чёрточки шли парами, и каждая пара лежала на одной высоте. В пять лет, в шесть, в семь, в восемь, год за годом мы росли так ровно, словно нас тянули вверх за одну и ту же нитку. Только в десять лет моя чёрточка оказалась на волосок выше, и я помню, как радовался этому, а Марк сказал, что это я нарочно встал на цыпочки, и мы подрались, и тётя Аня растаскивала нас за шиворот, ругаясь и смеясь одновременно.

Последняя пара стояла на уровне моего подбородка. Под ней мелким кривым почерком двенадцатилетнего мальчика было выведено «12», и выше на косяке больше не было ничего, только гладкая светлая краска до самого верха. Я приложил ладонь к последней чёрточке и почувствовал под пальцами слабую шероховатость графита, а потом прислонился к косяку

спиной, как прислонялся тогда, и провёл рукой над собственной головой, далеко выше той отметки.

* * *

В доме нас с Марком звали братьями. Сначала так говорила прислуга, потом это подхватили гости, а потом даже учитель граждановедения, приходивший к нам на дом, однажды назвал нас «братьями Ракитиными» и долго потом извинялся перед отцом. Мы с Марком родились с разницей в несколько месяцев, оба темноволосые, оба худые и длинные, с одинаковой привычкой сутулиться и одинаково оттопыренными ушами, над которыми смеялась вся кухня.

У нас в доме висело большое зеркало в холле второго этажа, старое и тяжёлое, в раме с бронзовыми листьями, и в детстве мы часами торчали перед ним, играя в отражение. Один из нас был человеком, а другой его отражением, и отражение должно было повторять каждое движение, не отставая ни на долю секунды. Мы так натренировались, что Тоня, поднявшись однажды с бельём по лестнице, уронила стопку полотенец и долго стояла, прижав ладонь к губам, переводя глаза с одного из нас на другого.

— Ты моргнул, — сказал Марк. — Отражения не моргают первыми.

— Отражения вообще не моргают. Это ты моргнул, а я за тобой.

— Значит, ты отражение.

— Это ты отражение. Я тут живу, а ты в зеркале.

— Я тоже тут живу. — Марк сделал страшное лицо, и я, конечно, сделал такое же, потому что был отражением. — Слушай, а ты свой номер сейчас видишь?

— Вижу.

— И я свой вижу. — Он прищурился, разглядывая что-то над нашими головами, чего я не мог увидеть за него, а он за меня. — Смешно. Номера у нас разные, а лицо одно. Как думаешь, Очередь нас не перепутает?

Тогда мы долго хохотали над этим, представляя, как Очередь чешет в затылке и не может решить, кого из нас забрать, а потом бросает жребий. Мне было восемь, и смерть казалась мне чем-то очень далёким и не очень серьёзным, вроде экзамена в старших классах. Теперь я стоял в пыльной комнате и думал о том, что тогда я ещё не видел ни одного номера, кроме своего собственного, и что Марк в тот день, кажется, впервые спросил меня о чём-то, на что сам не знал ответа.

Отец не любил, когда нас называли братьями. Я заметил это не сразу, потому что дети вообще не сразу замечают такие вещи, но однажды летом, когда мне было девять, это стало невозможно не заметить. На террасе давали обед для нескольких семей Совета, нас с Марком отправили в сад, чтобы мы не путались под ногами, а мы, конечно, путались, носились между кустами роз и играли в Ищеек и беглецов.

Старший Ордынский, грузный весёлый человек с красным лицом, поймал нас обоих за плечи прямо у стола, развернул к гостям и громко спросил, который из этих двух мальчишек наследник Ракитиных, потому что он, хоть убей, не может их отличить. Гости засмеялись, кто-то сказал, что Виктор, видно, решил на всякий случай завести запасного, и засмеялись ещё громче. Отец не засмеялся, и я до сих пор помню его лицо в ту секунду, спокойное и совершенно белое, как лист бумаги.

— Вот этот, — сказал отец и показал на меня. — Александр, подойди.

Я подошёл, и он положил мне руку на плечо, крепко, почти больно. На Марка он не посмотрел, словно того вообще не было на террасе. Марк постоял немного у стола, а потом молча ушёл в сад, и никто из гостей этого даже не заметил, потому что разговор уже перешёл на другое.

Вечером отец позвал меня к себе в кабинет. Он сидел за столом, на котором светилась карта какого-то района, и не предложил мне сесть, так что я стоял перед ним на ковре, не

зная, куда деть руки. Пахло кофе и его одеколоном, и за окном у него за спиной густо синело вечернее небо.

— У тебя нет брата, Александр, — сказал он. — Запомни это.

— Это же шутка. Все так говорят.

— Шутки повторяют, пока они не становятся правдой. — Он смотрел на меня так же, как на свою карту. — Ты наследник Ракитиных. У тебя одно имя и одно место. Ты единственный.

— А Марк?

— Марк сын прислуги. Он хороший мальчик, и пусть играет с тобой, если хочешь. Но он тебе не брат. — Отец помолчал. — Иди.

После того обеда тётя Аня больше не пускала Марка на террасу, когда наверху бывали гости. Мы всё равно встречались в саду, за дальними кустами, или внизу, на служебном ярусе, однако что-то сдвинулось, и Марк иногда смотрел на меня так, будто между намипоявилось стекло. Я тогда не понимал, что отца так рассердило, и решил для себя, что он просто не любит, когда над нашей семьёй смеются, ведь над ней никто никогда не смеялся.

Лиза была младше Марка на год, и всё наше детство она бегала за нами, как маленький хвостик, которого невозможно отцепить. У неё была тонкая светлая косичка, всегда растрёпанная, исцарапанные коленки и пронзительный голос, который мы слышали издалека на любом этаже. Мы убегали от неё в сад, прятались в оранжерее за бочками с водой, а она находила нас всегда, потому что знала все наши места лучше нас самих.

— Подождите! — кричала она где-нибудь позади. — Мальчики, подождите меня! Я всё маме скажу!

— Говори! — кричал в ответ Марк, не оборачиваясь. — Мама на работе!

— Тогда я Ефиму скажу! Что вы яблоки таскаете!

Ефиму она ни разу не сказала, хотя грозилась каждый день. Однажды она упала со ступенек оранжереи и рассекла коленку до крови, и я нёс её на спине через весь сад до служебного яруса, а она ревела мне в ухо и всю дорогу больно держала меня за волосы. Марк бежал рядом и уговаривал её не реветь, потому что от этого не заживёт быстрее, а потом сам заплакал, когда увидел кровь на её белых гольфах.

Осенью того года, когда нам с Марком исполнилось двенадцать, Лиза заболела. Сначала это был просто кашель, сухой и упрямый, который не проходил неделями, а потом у неё начался жар, и она перестала выходить из комнаты. К ним в крыло несколько раз приходили люди в серых халатах с Медицинского уровня, я видел их в коридоре служебного яруса, и после каждого их прихода тётя Аня долго стояла у окна в прачечной, прижимая ко рту сложенное полотенце.

Марк в ту осень стал другим. Он перестал бегать со мной по коридорам и играть в отражение, сидел целыми вечерами у Лизиной постели и читал ей вслух старые книжки, а со мной разговаривал мало и как будто издалека. Однажды я застал его в саду у белого куста: он сидел на корточках и смотрел на прививку, которую мы сделали вдвоём весной, на тонкую чужую веточку, примотанную к стволу садовой лентой, и я не сразу понял, что он плачет.

Последний вечер я помню так подробно, словно он записан у меня где-то внутри и я могу прокрутить его назад, как запись на экране. Был конец ноября, Купол уже потемнел, и мы сидели на подоконнике в этой самой комнате, свесив ноги, а Лиза спала за занавеской на нижней койке и дышала тяжело, с присвистом. На Марке был старый свитер с растянутыми рукавами, которые он всё время натягивал на кулаки, и он не смотрел на меня, а смотрел в тёмное окно.

— Лизку вылечат, — сказал он вдруг.

— Правда? Тебе врачи сказали?

— Не врачи. — Он подумал. — Ну, врачи тоже. Мне один человек сказал. Взрослый. Сказал, что её вылечат, если я помогу.

— Кому поможешь?

— Не могу сказать. Мне нельзя. — Марк натянул рукава на кулаки ещё сильнее. — Это взрослое дело. Я сам согласился. Никто не заставлял, ты не думай.

— А что надо делать?

— Не знаю пока. Сказали, ничего страшного. Чуть-чуть больно, а потом всё хорошо. — Он помолчал. — Может, мне придётся уехать ненадолго.

— Куда?

— Не знаю, Тень. Правда не знаю.

Он звал меня Тенью с тех пор, как нам исполнилось шесть. Сначала потому, что я везде ходил за ним, а потом потому, что он везде ходил за мной, и уже невозможно было разобрать, кто чья тень. Больше меня так не звал никто, кроме матери, которая однажды услышала это прозвище, когда я лежал с жаром, и с тех пор иногда называла меня так, тихо, когда никто не слышал, словно мы делили с ней маленький секрет.

— Ты только не обижайся, если я уеду, — сказал Марк. — Ладно?

— Ладно.

— И прививку без меня не трогай. — Он наконец посмотрел на меня, и глаза у него были сухие и очень взрослые. — Весной посмотрим, принялась или нет.

Наутро Марка в доме уже не было. Я спустился в служебный ярус перед завтраком, как спускался каждый день, и нашёл дверь запертой, а за ней тишину. Я стучал, звал Марка, звал тётю Аню, потом прибежал Арно, взял меня за плечи и повёл наверх, повторяя, что не надо шуметь, что они уехали и что Александру Викторовичу здесь нечего делать.

За завтраком мать сказала, что тётя Аня нашла работу на Средних уровнях, хорошую работу, и что они переехали туда всей семьёй, а Лизу там будут лечить лучшие врачи. Она говорила это, глядя в свою чашку, и голос у неё был ровный, но пальцы ни на секунду не отпускали край скатерти. Отец читал планшет и не поднимал головы, а когда я спросил, почему Марк со мной не попрощался, ответил коротко, что так лучше для всех и что я скоро привыкну.

— Я хочу к нему съездить, — сказал я.

— Нет.

— Почему?

— Потому что у них теперь своя жизнь, Александр. А у тебя своя. — Он перевернул страницу на экране. — Ешь.

Через неделю я попытался открыть эту дверь тем способом, которому меня научил Марк. Замок поддался, однако я не успел даже переступить порог, потому что из-за поворота вышел отец, будто знал, где меня искать. Он ничего не сказал, просто взял меня за руку и отвёл наверх, а на следующий день на двери крыла появилась табличка, запрещающая вход посторонним, и я больше сюда не приходил.

Номера появились в ту же зиму, через несколько недель после того, как опустели эти комнаты. Однажды утром я спустился к завтраку и увидел над головой горничной белое число, а через неделю числа висели над всеми, кого я видел, и я решил, что схожу с ума. Мне было двенадцать лет, у меня только что исчез единственный друг, и я по ночам плакал в подушку так, чтобы никто не услышал.

Я тогда придумал себе объяснение и прожил с ним шесть лет. Горе что-то сломало во мне, рассуждал я, как ломает иногда сильный удар, и в образовавшуюся трещину просочилось то, чего человеку видеть не положено. Мне даже казалось это справедливым, будто это было наказанием за то, что я не удержал Марка, не спросил вовремя, не пошёл за ним следом, когда ещё можно было пойти.

Теперь, стоя в его комнате, я впервые подумал, что две вещи, случившиеся одной зимой, могут быть связаны как-нибудь иначе, чем горем. Мысль была смутной и бесформенной, как тень на матовом стекле, и я не смог её додумать, потому что не знал, с какой стороны за неё

взяться. Я просто стоял и чувствовал, как она шевелится где-то в глубине, словно рыба подо льдом. Рядом с ней лежала ещё одна, совсем маленькая: слова Марка о том, что будет чуть-чуть больно, а потом всё хорошо, вчера почти дословно повторила Ника.

* * *

Наш тайник был устроен под подоконником. Нижняя доска там держалась на одном гвозде, и если нажать на её левый край, правый приподнимался ровно настолько, чтобы просунуть пальцы. Марк знал этот дом лучше меня, знал все скрипучие ступеньки, все пустоты за панелями и все ходы, по которым можно пробраться в оранжерею незамеченным, а когда я спрашивал, откуда он всё это знает, он пожимал плечами и говорил, что ему рассказывала мама.

Я опустился на колени, нажал на доску, и она поднялась с тем же тихим скрипом, что и шесть лет назад. Внутри лежали наши сокровища, покрытые пылью: сломанный компас без стрелки, горсть яблочных семечек в бумажном кульке, огрызок садового воска, которым Ефим учил нас замазывать срезы, и стеклянный шарик с синей спиралью внутри. Под шариком лежал листок, сложенный вчетверо, из тех грубых сероватых листков, на которых прислуга пишет списки покупок.

Я развернул его, и пыль поднялась с бумаги лёгким облачком, которое медленно поплыло в свете лампы. Почерк был мелким и кривым, тем же, что на дверном косяке, буквы наползали друг на друга и в конце строк съезжали вниз. Я прочитал записку один раз, потом второй, а потом долго сидел на полу, держа её обеими руками.

«Тень, мне сказали собираться, уезжаем сегодня ночью. Куда едем, мне не говорят, честно. Лизку вылечат, мне это точно обещали. Ты не обижайся, что я не мог тебе сказать. Про яблоки никому ни слова. Прививку не трогай, вернусь, и посмотрим вместе. Ты теперь будешь за двоих, так что не раскисай. Жму руку, твой брат навсегда Марк».

Шесть лет эта записка лежала здесь, в темноте под подоконником, в двадцати шагах от служебной кухни, в которой я ел горячие сухари. Шесть лет Марк, где бы он ни был, думал, что я её прочитал, и, может быть, ждал ответа, а я рассказывал себе гладкую историю про Средние уровни и про то, что он со мной не попрощался. Я сидел на полу в пыли и не мог вспомнить, когда плакал в последний раз, и не мог понять, почему не плачу сейчас.

Камера в углу смотрела на меня своей красной точкой. Я сложил записку по старым сгибам, положил во внутренний карман и закрыл тайник, нажав на доску до щелчка. Потом выключил свет, вышел и запер за собой дверь, приподняв ручку и навалившись плечом на косяк, и мне показалось, что за дверью, в темноте, кто-то продолжает смотреть мне вслед.

* * *

На обратном пути я снова прошёл мимо кухни. Свет там уже не горел, на длинном столе стояли две вымытые кружки вверх дном, а мокрые круги на дереве почти высохли. Я постоял на пороге, вдыхая запах чабреца и остывшей плиты, и поднялся наверх по холодной металлической лестнице, не держась за перила.

В комнате я не стал ложиться, а сел на подоконник рядом с песочными часами и смотрел, как над Куполом медленно бледнеют искры силовых рёбер. Мне казалось, что я думаю о Марке, о тёте Ане и о Лизе, плачущей ночью у грузового лифта, но на самом деле я, наверное, ни о чём не думал. Я просто держал руку на кармане, где лежала записка, и чувствовал под ладонью её сгибы, как чувствуют сквозь ткань чужое сердце.

Ровно в шесть часов Купол над Шпилями посветлел. Солнце легло на подоконник, на ковёр и на край нетронутой кровати так же ровно, как вчера и как во все дни моей жизни, а песочные часы вспыхнули в его лучах, и пепельный песок в нижней колбе стал похож на горсть золы. Мне исполнилось восемнадцать лет, и я встретил этот день сидя на подоконнике, в мятой рубашке, с запонками отца на манжетах и с запиской Марка у сердца.

* * *

Мать пришла в половине восьмого, как и вчера, только без коробочки в руках. На ней было простое тёмное платье, волосы она собрала небрежно, и лицо у неё было бледное, с синеватыми тенями под глазами, словно она тоже не спала. Она остановилась в дверях и увидела меня на подоконнике, увидела нетронутую постель и вчерашнюю рубашку, и ничего не сказала.

— С днём рождения, Саша.

— Спасибо, мама.

Она подошла и села рядом со мной на подоконник, чего не делала, наверное, с тех пор, как я был маленьким. От неё пахло теми же горькими цветочными духами, и солнце, падавшее сбоку, высветило у неё на виске несколько седых волосков, которых я раньше не замечал. Над её головой стояло **2 903 878**, и последняя цифра провернулась, пока я на неё смотрел.

— Ты ходил вниз, — сказала она. — Ночью.

— Откуда ты знаешь?

— Я… — Она чуть повела плечом. — Я знаю этот дом. Он не умеет хранить секреты. Только свои.

Я достал из кармана записку и протянул ей. Мать узнала почерк ещё до того, как развернула листок, я понял это по тому, как дрогнули её пальцы, и по тому, как она на секунду закрыла глаза. Она читала долго, гораздо дольше, чем нужно, чтобы прочитать несколько строчек, а потом сложила листок по сгибам, бережно, как складывают что-то очень старое, и вернула мне.

— Спрячь, — сказала она. — Не показывай никому. Слышишь? Никому.

— Мама, куда они уехали?

— Саша…

— Ефим вчера сказал, что тётя Аня никуда не уезжала. Он хотел сказать что-то ещё и не успел. Тоня говорит, что их увезли ночью на грузовом лифте, и Лиза плакала, а потом перестала. — Я слышал свой голос как будто со стороны, ровный и чужой. — Ты говорила, что их перевели на Средние. Что Лизу там лечат. Это правда?

Мать смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Пальцы у неё сами собой нашли край моего рукава и стали разглаживать его, как разглаживали всегда край скатерти, медленно и бережно, складку за складкой. Где-то внизу, в саду, прожужжала камера, поворачиваясь вслед за кем-то, кого я не видел.

— Лизу вылечили, — сказала она наконец. — Это правда. Это я знаю точно.

— А остальное?

— Остальное… — Она подняла на меня глаза, и в них было что-то, чего я никогда раньше в них не видел, что-то похожее на просьбу. — Не сегодня, Саша. Я обещала тебе вчера, что после… Я обещала. Только не сегодня. Сегодня тебе нужно быть сильным.

— Почему?

Она ничего не ответила на это. Вместо ответа она взяла мою руку в свои ладони и держала её так, как держат что-то, что могут отнять, крепко и в то же время осторожно. Руки у неё были холодные, несмотря на солнце, и я чувствовал, как под тонкой кожей её запястья часто бьётся пульс.

Она держала мою руку слишком долго. Я сидел неподвижно и ждал, когда она отпустит, а она всё не отпускала, и молчание тянулось, наполняясь солнечным светом и тихим гудением вентиляции. Последняя цифра над её головой провернулась ещё раз, и я понял, что мы сидим так уже шесть минут.

— Послушай меня, — сказала мать очень тихо. — Что бы ты ни увидел сегодня… Что бы там ни было. Ты не виноват. Ты слышишь? Ты ни в чём не виноват.

— В чём я могу быть виноват?

— Ни в чём. — Она сжала мою руку так сильно, что мне стало больно. — Запомни, Тень моя. Ни в чём.

Она назвала меня так впервые за много лет, и от этого слова у меня перехватило горло сильнее, чем от записки. Мать поднялась, наклонилась и поцеловала меня в макушку, туда, где когда-то Марк ставил книгу, чтобы отметить наш рост на косяке. Потом она вышла, тихо прикрыв за собой дверь, и я услышал в коридоре её быстрые шаги, которые вдруг остановились, словно она прислонилась к стене.

* * *

Отец пришёл за мной в девять. Он был в тёмном костюме, свежий, выбритый, пахнущий кофе и одеколоном, и оглядел меня с головы до ног одним быстрым взглядом, отметив, наверное, и мятую рубашку, и бессонные глаза. Над его головой стояло всё то же число, огромное и неподвижное, будто высеченное в камне.

— Переоденься, — сказал он. — Белое. Тоня принесла, всё на стуле.

— Хорошо.

— Ты не спал.

— Не спал.

— Это нормально. — Он кивнул, словно я подтвердил что-то, что он и так знал. — Я тоже не спал перед своим. Через двадцать минут у лифта.

На стуле лежала белая одежда из мягкой ткани, свободные штаны и рубашка без пуговиц и воротника, похожая на больничную. Я переоделся и переложил записку Марка в карман белых штанов, хотя понимал, что это глупо. Песочные часы остались на подоконнике, пустые сверху и полные снизу, и я не стал их переворачивать.

* * *

Лифт, который ведёт с нашего этажа к Главному Шпилю, изнутри целиком зеркальный. Я ездил в нём сотни раз и привык не замечать своего отражения, как привык не замечать камер, но сегодня, когда двери закрылись, а отец встал рядом со мной, отражения окружили нас со всех сторон. Десятки одинаковых юношей в белом и десятки одинаковых мужчин в тёмном уходили вглубь зеркальных стен бесконечными рядами, словно очередь, у которой нет ни начала, ни конца.

Над каждым из моих отражений стояли белые цифры, ровные и спокойные. Над отцовскими отражениями цифры были больше и не двигались вовсе. Я нашёл глазами ближайшее своё отражение и прочитал число, как читал его каждое утро своей жизни.

8 610 945

Я смотрел на своё лицо, бледное, с тёмными кругами под глазами, с оттопыренными ушами, над которыми когда-то смеялась вся кухня, и думал о том, что Ефим, увидев меня со спины, решил, будто вернулся Марк. Номера у нас разные, а лицо одно, сказал мне когда-то Марк перед зеркалом с бронзовыми листьями. Отец стоял рядом и смотрел прямо перед собой, на двери, и его рука лежала у меня на плече, тяжёлая и тёплая, как в ту минуту на террасе, когда он показал гостям, который из двух мальчиков его сын.

Лифт мягко дрогнул и пошёл вниз. Где-то над нами, на подоконнике, лежал в нижней колбе пепельный песок, а в кармане у меня лежала записка, которую я прочитал на шесть лет позже, чем следовало. Ты теперь будешь за двоих, написал Марк, и я впервые подумал, что не знаю, что это значит.

Глава 4

Лифт шёл вниз гораздо дольше, чем я ожидал. Сначала я считал этажи по лёгким толчкам под ногами, потом сбился, потому что толчки прекратились, и кабина просто скользила в глубину, ровно и бесшумно, а у меня закладывало уши, как в детстве, когда ныряешь на дно бассейна за брошенной монетой. Отражения вокруг нас не менялись, десятки юношей в белом и десятки мужчин в тёмном стояли неподвижно, и мне казалось, что вниз едем не мы двое, а вся эта бесконечная очередь.

Отец ни разу не взглянул на меня за всю дорогу. Он смотрел на двери, на тонкую тёмную щель между створками, и его рука по-прежнему лежала у меня на плече, только теперь я чувствовал в ней не тепло, а вес. Я попробовал вспомнить, сколько раз за восемнадцать лет он вот так держал меня, насчитал совсем немного, и все эти разы почему-то случались при свидетелях.

— Мы уже ниже Шпиля, — сказал я. — Я думал, зал наверху.

— Наверху то, что видят. — Отец чуть сжал моё плечо. — Здесь то, что работает.

— Ты здесь был?

— Восемнадцать раз в году, если считать обходы Совета. — Он помолчал. — И один раз так, как ты сегодня.

Кабина мягко затормозила, и мой желудок на мгновение поднялся к горлу, а потом вернулся на место. Створки разошлись без звука, и вместе с ними разошлись наши отражения, разрезанные пополам ровной вертикальной линией. За дверями не было ни солнца, ни сада, ни мраморного холла, к которым я привык за восемнадцать лет, а был только белый коридор, уходящий вперёд так далеко, что его конец терялсяв собственном свете.

Свет здесь шёл отовсюду и ниоткуда. Я поискал глазами лампы и не нашёл ни одной, светились сами стены, ровно и молочно, так что ни у отца, ни у меня не было тени, и мы шли по коридору, словно вырезанные из бумаги. Пол слегка пружинил под ногами, как пружинило покрытие на служебном ярусе, только здесь он был не серый, а белый, без единого пятна и без единой царапины.

Воздух здесь тоже был совсем другой. Наверху, в Шпилях, пахнет хвоей и озоном, и я так привык к этому запаху, что перестал его замечать, как перестают замечать собственное дыхание. Здесь хвоей не пахло совсем, а пахло чем-то аптечным, острым и чистым, и ещё тёплым металлом, и я не сразу вспомнил, где уже слышал этот запах. Вчера вечером, в Большой галерее, так пахли пальцы Ады Ган, когда она протянула мне руку.

Под потолком через каждые десять шагов висели камеры. Они были меньше домашних, похожие на гладкие белые капли, и если бы не красные точки, я бы их, наверное, не заметил совсем. Каждая точка неторопливо поворачивалась нам вслед, и я поймал себя на том, что считаю их, как считал в детстве ступеньки и плитки, и досчитал до двадцати шести, прежде чем коридор кончился.

Дверь в конце коридора была круглой, с тяжёлой окантовкой, и больше походила на люк, чем на дверь. На ней не было ни ручки, ни таблички, только узкая полоса тёмного стекла на уровне глаз. Отец остановился перед этой полосой, стекло мигнуло зелёным, и люк с глубоким вздохом отъехал в сторону, выпустив нам навстречу волну прохладного воздуха.

— Виктор! Александр! — Голос был мягкий, чуть надтреснутый, будто старый фарфор. — Проходите, проходите. Мы как раз готовы.

Эдуард Ган шёл к нам через зал, протягивая обе руки. На нём был не белый халат, как я ожидал, а простой серый джемпер с закатанными рукавами, и в этом джемпере он больше походил на чьего-то деда, вышедшего в сад подрезать яблони, чем на главного врача Прото-

кола. Очки в тонкой оправе сидели у него на кончике носа, и он смотрел поверх них с той же добродушной внимательностью, с какой смотрел на меня вчера.

— С днём рождения, Александр. — Он взял моё запястье и, не спрашивая, положил пальцы на пульс. — Сто двенадцать. Это ничего, это хорошо. Это значит, что вы живой человек, а не статуя. Не спали?

— Не спал.

— Никто не спит. — Ган ласково похлопал меня по руке. — Ваш отец тоже не спал, я помню. Он тогда был худой, как жердь, и всё время спрашивал, долго ли ещё.

— Эдуард, — сказал отец.

— Молчу, молчу. — Ган улыбнулся и отпустил моё запястье. — Старики болтливы, Александр. Не обращайте внимания.

Над его головой стояло **27 450 118**, то самое число, которое я видел вчера на приёме, огромное, белое и совершенно неподвижное. За ночь в нём не провернулась ни одна цифра. Я заставил себя смотреть ему в переносицу, туда, где очки оставили на коже две маленькие красные вмятины, и подумал, что у отца над головой стоит такое же застывшее число, только поменьше.

* * *

Зал был круглый, с высоким куполообразным потолком, и в первую секунду мне показалось, что я снова попал в оранжерею, только из оранжереи вынесли все растения. Стены светились тем же молочным светом, что и в коридоре, а вдоль них стояли низкие белые шкафы с прозрачными дверцами, за которыми поблёскивали инструменты, ампулы и свёрнутые кольцами трубки. На стене напротив входа висели три больших экрана с бегущими зелёными линиями, и линии эти подрагивали, словно что-то в зале уже дышало.

Посередине зала стояли две белые капсулы. Они были похожи на огромные вытянутые яйца из белого фарфора, лежащие на низких постаментах, и у каждой была прозрачная крышка, поднятая вверх, как поднимает крылья жук перед полётом. Между капсулами, от пола до высоты человеческого роста, поднималась стеклянная перегородка, но стекло в ней было матовым и молочным, так что разглядеть, что за ним, было невозможно. Над перегородкой, на тонкой металлической колонне, висело что-то вроде кольца из светлого металла, и от этого кольца к изголовью каждой капсулы тянулись пучки тонких кабелей.

Левая капсула была открыта и пуста, и на её белом дне лежала сложенная простыня. Правую капсулу я видел только наполовину, потому что её загораживала перегородка, но было понятно, что её крышка опущена, а внутри, под запотевшим стеклом, лежит что-то длинное, укрытое белым. Я отвёл глаза и стал смотреть на экраны, потому что мне вдруг очень не захотелось знать, что там лежит.

Мать стояла у стены, недалеко от входа, в том же тёмном платье, в котором приходила ко мне утром. Я не знал, что она будет здесь, и почему-то обрадовался, а потом увидел её лицо и перестал радоваться. Она стояла очень прямо, сцепив руки перед собой, и пальцы правой руки беспрерывно разглаживали манжету на левой, складку за складкой, как разглаживали утром мой рукав.

Над её головой стояло **2 903 863**. Я знал, что это число не сделало ничего особенного, просто прошло своими шагами за то время, пока я спускался в лифте, но мне всё равно захотелось подойти к ней. Мать поймала мой взгляд и чуть заметно покачала головой, и я остался на месте.

Ада Ган стояла у колонны и что-то настраивала на маленьком экране, вмонтированном в металл. На ней был белый халат, застёгнутый до самого горла, волосы были стянуты на затылке так туго, что кожа на висках казалась прозрачной. Она подняла голову, когда мы вошли, посмотрела на меня тем же долгим взглядом, что и вчера, и я снова не смог понять,

что в этом взгляде, пока она не отвернулась. Мне показалось, что так смотрят на человека, которому ещё не сказали плохую новость.

— Вам рассказывали, что будет? — спросил Ган. Он снял очки и протирал их краем джемпера, неторопливо, круговыми движениями.

— Отец сказал, что это процедура. Медицинская.

— Совершенно верно. Совершенно верно. — Ган посмотрел стёкла на свет и остался недоволен. — Ваш чип сегодня примет дополнительный ресурс. Мы проведём его по мостику, который называется шунтом. Ада поставит вам кольцо на шею, вы почувствуете укол, потом холод, потом тепло. Будет неприятно в начале. Потом пройдёт.

— Ресурс — это места?

— Места, годы, называйте как хотите. — Ган надел очки обратно. — Слова здесь не так важны, Александр, как вам сейчас кажется.

— Откуда они берутся?

Отец, стоявший у меня за спиной, переступил с ноги на ногу. Я услышал этот звук отчётливо, потому что в зале было очень тихо, тише, чем в любом месте, где я бывал, и даже экраны с их бегущими линиями не издавали ни писка. Мать у стены перестала разглаживать манжету, и её пальцы замерли, вцепившись в ткань.

— Оттуда. — Ган легко кивнул на перегородку. — Там донор. Добровольный, Александр, я это подчёркиваю. Всё подписано, всё по закону Совета. Человек сделал свой выбор, и выбор этот достоин уважения.

— А налог? В кабинках берут двадцать процентов.

Ган посмотрел на меня поверх очков с таким удовольствием, словно я был любимым учеником, задавшим правильный вопрос. Глаза у него за стёклами были светлые, почти бесцветные, и в уголках собрались добрые морщинки. Мне вдруг пришло в голову, что этот человек улыбается так уже лет девяносто и давно разучился улыбаться иначе.

— Здесь налога нет, — сказал он мягко.

— Кто он? Донор.

— Александр, — сказал отец.

— Ничего, Виктор, ничего, это нормальный вопрос. — Ган поднял ладонь, и отец замолчал, чего я не видел, кажется, ни разу в жизни. — Человек, Александр. Человек, который согласился. В первый раз наследникам легче не знать подробностей, поверьте старому врачу. Подробности будут потом, когда вы станете старше, и тогда вы сами решите, хотите ли вы их знать.

— Я хочу сейчас.

— Сейчас вы хотите спать, — сказал Ган, и улыбка у него была такая добрая, что мне стало холодно. — И бояться. Это тоже нормально. Ада, мы готовы?

— Готовы, — сказала Ада. Голос у неё был ровный и тихий, без всякого выражения.

Отец положил мне руку на затылок, как клал в детстве, когда я засыпал в экипаже по дороге из гостей. Ладонь была тёплая и сухая, и я почувствовал сквозь кожу, как бьётся у него на запястье пульс, спокойно и редко, гораздо медленнее моего. Мне захотелось прижаться к этой ладони затылком, как в детстве, и от этого желания стало стыдно.

— Я лежал здесь, — сказал он негромко. — В этой самой. Мой отец стоял вон там, у стены, где сейчас мама. Потом он подарил мне часы. — Отец помолчал. — Это не больно, Александр. Это просто взрослеешь.

— Ты знал, кто был по ту сторону? Тогда?

Рука на моём затылке не дрогнула. Отец смотрел на меня сверху тем взглядом, которым смотрел на карту района, когда решал, где пройдёт новая магистраль, и в этом взгляде не было ни злости, ни смущения, а была только усталая уверенность человека, который давно всё для себя решил. Я понял, что ответа не будет, и что молчание отца и есть ответ.

— Ложись, — сказал он.

Ада помогла мне забраться в капсулу. Внутри было мягко и прохладно, ложе мгновенно приняло форму моего тела, и мне показалось, что меня кладут в форму для отливки, из которой потом выйдет кто-то другой. Над головой, прямо надо мной, поблёскивала поднятая крышка, а в изголовье чувствовалось углубление для шеи, гладкое и твёрдое, с маленькими холодными отверстиями по краям.

Ада наклонилась и стала застёгивать ремни на моих запястьях. Ремни были широкие, мягкие изнутри, и застёгивались с тихим щелчком, а она приговаривала ровным голосом, что это нужно из-за рефлексов, что тело иногда дёргается само, и лучше, чтобы ничего не задело иглы. Пальцы у неё были холодные, и на подушечках я снова увидел те бурые пятнышки, которые заметил вчера на приёме.

Застёгивая ремень на правой руке, она коснулась моего бедра и замерла. Я понял, что она нащупала сквозь тонкую ткань сложенный вчетверо листок, записку Марка, которую я, как дурак, взял с собой. Ада быстро посмотрела на меня, потом через плечо на отца, который отошёл к экранам и разговаривал там о чём-то с Ганом, а потом осторожно, двумя пальцами, задвинула листок поглубже в карман и разгладила ткань сверху.

Над её головой стояло белое **3 980 071**. Вчера на приёме было на сто с небольшим больше, и я подумал, что Ада, наверное, единственный человек в этом зале, кроме матери, чьё число уходит вниз, как у всех. Она наклонилась ниже, будто проверяла застёжку у самой моей щеки, и я почувствовал её запах, аптечный и металлический.

— Смотрите вверх, — сказала она так тихо, что я едва расслышал. — Что бы ни было. Только вверх.

— Почему?

Ада ничего мне не ответила. Она выпрямилась, лицо у неё снова стало ровным и пустым, и она отошла к колонне, где уже ждал Ган. Я лежал, пристёгнутый, и думал о Нике, о её пальцах на колье и о фразе, которую она вчера не договорила, «не смотри в соседнюю». Тогда я не понял, что значит это слово, а теперь, лёжа в капсуле рядом с другой капсулой, понимал слишком хорошо.

Крышка надо мной медленно опустилась. Она не закрылась до конца, а остановилась в ладони от моего лица, и по краю её прошла тонкая полоса голубого света. Стекло потемнело, словно на него налили чернил, и превратилось в зеркало, гладкое и глубокое, в котором я увидел себя, бледного, с запавшими глазами и оттопыренными ушами, в белой рубашке без воротника.

Над моим отражением загорелись белые цифры, ровные и знакомые. Я видел их каждое утро своей жизни в зеркале ванной комнаты и сегодня уже видел в лифте. Здесь, в темноте под крышкой, они горели ярче обычного, словно кто-то прибавил им света.

8 610 934

— Крышка зеркальная, — раздался снаружи приглушённый голос Гана. — Это для вашего удобства, Александр. Наследникам нравится видеть результат. Смотрите на своё число, если хотите, это успокаивает.

Ада повернула мою голову чуть набок, и я почувствовал на шее, под затылком, что-то холодное и скользкое, похожее на гель. Потом в изголовье что-то зажужжало, и вокруг шеи сомкнулось металлическое кольцо, не туго, но плотно, как сжимается ладонь. В тех маленьких отверстиях, которые я нащупал затылком, шевельнулось что-то тонкое, и я понял, что это иглы, много игл, и все они смотрят на мой позвоночник.

— На счёт три, Александр, — сказал Ган. — Не двигайтесь. Дышите. Три.

3

Я смотрел на своё отражение и видел, как у меня дрожат губы. Белая цифра в конце числа провернулась, и я услышал этот щелчок отчётливо, громче, чем когда-либо раньше. Иглы под затылком шевельнулись ещё раз и замерли у самой кожи.

2

Мать у стены издала какой-то звук, короткий и сдавленный, и тут же замолчала. Я не мог повернуть голову и не видел её, но знал, что она прижала ладонь ко рту. Отец что-то негромко сказал ей, одно короткое слово, и она замолчала.

1

Боль пришла не сразу, а с крошечным опозданием, словно сначала тело не поверило в то, что с ним сделали. Потом она ударила вверх по позвоночнику, от шеи в затылок и в зубы, белая, ослепительная, как вспышка, и я услышал внутри собственного черепа хруст, тихий и сухой, как хрустит под ногой тонкий лёд. Во рту стало солоно и медно, я, кажется, прикусил язык, и сквозь звон в ушах до меня донёсся спокойный голос Ады, которая говорила, что фиксация есть и что контакт стабилен.

Следом за болью пришёл холод. Он разлился от шеи по плечам и вниз, по рукам, до самых кончиков пальцев, как разливается ледяная вода, когда прыгаешь в неё с разбегу, и на секунду мне показалось, что я больше не чувствую своего тела. Я лежал в белом яйце, пристёгнутый ремнями, и не знал, есть ли у меня руки, и только сердце стучало, отдаваясь в иглах, которые сидели у меня в шее.

— Мост открыт, — сказала Ада.

— Прекрасно. — Ган говорил так, будто хвалил ребёнка за первую пятёрку. — Поток пошёл. Видите, Виктор? Чистый, как из учебника.

Вслед за холодом пришло тепло. Оно поднималось откуда-то из глубины, из того места, где в шею входили иглы, и разливалось по груди медленно и густо, как разливается горячий чай в замёрзшем горле. Это было приятно, и от этого было страшнее всего, потому что тело моё радовалось, тянулось к этому теплу, пило его, как пьют, не чувствуя жажды, просто потому, что пить вкусно. Мне вдруг показалось, что где-то далеко, на другом конце длинной соломинки, кто-то другой чувствует сейчас то же самое, только наоборот.

Цифры в зеркале над моим лицом сдвинулись. Сначала провернулась последняя, потом предпоследняя, потом они побежали все вместе, сотни и тысячи, сливаясь в мерцающую полосу, и щелчки слились в один непрерывный сухой треск, похожий на звук, с которым тасуют колоду карт. Я смотрел, как моё число растёт, как перещёлкивает разряд за разрядом, и не мог отвести глаз.

8 744 210
8 917 506
9 102 388

— Видишь? — Голос отца шёл откуда-то сбоку, спокойный и довольный. — Ничего страшного.

Я хотел ответить, но горло не слушалось. Я смотрел в зеркало и видел, как по моей шее, из-под металлического кольца, медленно ползут вверх, к подбородку, тонкие тёмные нити, ветвясь и переплетаясь, как ветвятся корни в прозрачном горшке. Они были чёрные, как чернила, и я узнал их сразу, потому что видел точно такие же вчера, на тонкой шее Ники, под золотым колье, и тогда я решил, что это синяк.

— Некросетка, — сказал Ган, словно услышав мои мысли. — Сосудистый рисунок, Александр, это нормально. Сойдёт за неделю. Ваша мама подберёт вам тон, никто ничего не заметит. Ада, перегородку, пожалуйста. Мне нужен визуальный контроль донора.

Сквозь щель между краем крышки и стенкой капсулы я видел полосу зала, кусок белого потолка и край стеклянной перегородки. Молочное стекло перегородки начало светлеть. Оно светлело от краёв к середине, медленно, словно на морозном окне кто-то дышал изнутри, и

сквозь него постепенно проступали очертания второй капсулы, такой же белой, как моя, с такой же откинутой теперь крышкой.

Смотрите вверх, сказала мне Ада, только вверх, что бы ни было. Я помнил эти слова и понимал, что она просила не зря. Ника вчера не договорила почти то же самое, и теперь две женщины, которые знали, что лежит за перегородкой, просили меня об одном.

Я всё-таки повернул голову вбок. Иглы в шее отозвались такой болью, что у меня потемнело в глазах, кольцо врезалось под челюсть, и где-то снаружи Ада быстро и резко сказала моё имя. Я не послушался, я тянул голову дальше, пока щека не легла на край ложа, и тогда сквозь щель под крышкой и сквозь прояснившееся стекло я увидел того, кто лежал в соседней капсуле.

Это был человек моего роста, худой настолько, что белая простыня, укрывавшая его до груди, казалась наброшенной на пустые носилки. Голова у него была обрита наголо, и кожа на ней была серая, тонкая, с голубоватыми прожилками у висков, а вокруг шеи сидело такое же металлическое кольцо, как у меня, и от кольца к колонне тянулись те же кабели. Лицо его было повёрнуто ко мне, глаза закрыты, и щёки так запали, что скулы торчали под кожей острыми углами, как торчат камни из-под тающего снега.

Я смотрел на это лицо, и что-то во мне отказывалось его узнавать. Это было чужое лицо, старое, лет на тридцать старше моего, с глубокими складками у рта и с серыми тенями под глазами, и в то же время это было моё лицо, то самое, которое я только что видел в зеркале над собой. Тот же нос с маленькой горбинкой, тот же подбородок, те же брови, сросшиеся на переносице лёгким пушком, и те же уши, оттопыренные, над которыми когда-то смеялась вся кухня. Мне казалось, что кто-то взял моё лицо и двадцать лет сушил его на солнце.

Над его головой горело число, и я увидел его сразу, потому что видел все числа, всегда, над каждым лицом. Никто в этом зале не видел того, что видел сейчас я. Цифры были крупные и ясные, и я прочитал их одним взглядом, как читал всю жизнь.

1 341 206

Число было белое и катилось вниз. Оно катилось так же быстро, как моё катилось вверх, разряд за разрядом, с тем же сухим непрерывным треском, только этот треск шёл теперь не из моего зеркала, а из-за стекла, из соседней капсулы. Иногда число вдруг замирало, прыгало вверх на несколько тысяч, словно кто-то с другой стороны доливал в него, а потом снова срывалось вниз, ещё быстрее прежнего. Я не понимал, что это значит, и не мог понять, потому что вообще перестал что-либо понимать.

— Марк, — сказал я.

Голос у меня получился хриплый и тихий, почти шёпот, и никто, кажется, его не расслышал. Человек в соседней капсуле не шевельнулся, и его веки остались закрытыми. Я набрал воздуха, сколько позволило кольцо на шее, и сказал громче.

— Марк!

— Не разговаривайте, Александр. — Ган отозвался сразу, мягко и озабоченно. — Вы нарушаете поток. Ада, давление?

— Растёт.

— Это Марк! — Я кричал теперь, и каждое слово отдавалось в иглах острой болью. — Папа! Это же Марк! Ты слышишь? Это Марк!

— Это донор, — сказал отец. Голос у него был совершенно спокойный. — Лежи тихо, Александр. Осталось недолго.

— Мама!

Мать мне ничего не ответила. Я слышал, как она дышит, часто и прерывисто, где-то у стены, и слышал, как кто-то, наверное отец, сказал ей «Елена, не надо», негромко и твёрдо, как говорят собаке, которая рвётся с поводка. Ты не виноват, сказала она мне утром, что бы ты ни увидел, ты ни в чём не виноват, и теперь я знал, о чём она говорила, и от этого знания мне хотелось выть.

Марк открыл глаза медленно, словно поднимал тяжесть. Веки у него дрогнули раз, другой, прежде чем разлепиться, и ресницы были бесцветные, почти белые. Я перестал дышать и смотрел, как он возвращается откуда-то издалека.

Глаза у него были серые, как у меня, только светлее и мутнее, словно их долго мыли в воде, и они смотрели прямо на меня, сквозь стекло, сквозь щель под моей крышкой. Я ждал, что в них что-то вспыхнет, узнавание, удивление, хотя бы испуг, и ничего не вспыхнуло. Он смотрел на меня так, как смотрят на стену, на потолок, на пустое место, и его зрачки не сужались и не расширялись, а просто стояли, как два чёрных гвоздя, вбитых в серое.

— Марк, это я. — Я больше не кричал, я говорил тихо и быстро, будто нас могли разлучить в любую секунду. — Это я, Тень. Слышишь? Тень. Помнишь косяк? Метки? Яблоки? Марк, я нашёл твою записку. Слышишь? Я её нашёл.

Его потрескавшиеся губы тихо шевельнулись. Сначала они двигались беззвучно, как шевелятся губы у спящего. Потом сквозь стекло и сквозь гудение колонны до меня донёсся голос, тихий, сиплый, совсем не тот, который я помнил, и всё-таки его голос.

— Чуть-чуть больно, — сказал Марк. — А потом всё хорошо.

Он сказал это без всякого выражения, ровно, как повторяют выученную наизусть фразу, смысл которой давно стёрся. Потом сказал ещё раз, теми же словами и тем же голосом, и я понял, что он говорит это не мне. Он говорил это, наверное, каждый раз, когда лежал вот так в белой капсуле с кольцом на шее, и говорил так давно, что эти слова стали у него вместо молитвы.

Число над его головой щёлкнуло, и этот щелчок я запомнил навсегда. Цифры перевалили через границу, которую я знал с детства, как знает её каждый на Острове. Я смотрел на них и не мог моргнуть.

83 996

Щелчок был тихий, едва слышный в общем треске, но я услышал его так отчётливо, будто кто-то щёлкнул пальцами у самого моего уха. Белые цифры над головой Марка дрогнули, мигнули и стали жёлтыми, бледно-жёлтыми, цвета старой бумаги, как цифры над Тоней и над половиной кухни. Я знал, что значит этот цвет, знал с детства, как знает его каждый на Острове, и поэтому мне не нужно было считать.

79 802

Над Марком было теперь меньше года жизни. Число продолжало катиться вниз, жёлтое и быстрое, и щелчки сыпались один за другим. Я вдруг понял, что тепло, которое разливается у меня в груди, течёт оттуда, из этой капсулы, из этого серого высохшего лица, что я пью его, как пьют через соломинку, и что мне до сих пор было приятно.

Я закричал во весь голос. Я не знаю, что я кричал, кажется, просто кричал, без слов, как кричат во сне, и рванулся вверх изо всех сил, которые у меня были. Ремни на запястьях врезались в кожу, и правый с треском поддался, вырвав застёжку из гнезда, и я ударил ладонью в крышку над собой, в собственное отражение, в белые цифры над собственной головой. Иглы в шее рванули позвоночник, словно кто-то выдирал его из меня целиком, и я почувствовал, как по шее, за воротник, течёт горячее.

— Прерываю! — Голос Гана впервые стал резким. — Ада, разобщение, немедленно! Виктор, держите ему голову, иначе мы его потеряем! Голову, Виктор!

Крышка надо мной взлетела вверх. Чьи-то руки схватили меня за плечи, за подбородок, за лоб, и вдавили затылком в ложе, и прямо над собой я увидел лицо отца, перевёрнутое, огромное, с тёмными внимательными глазами. Он держал мою голову обеими ладонями, крепко и бережно, как держат что-то хрупкое и очень дорогое, и от него пахло кофе и одеколоном, тем самым утренним запахом, который я знал всю жизнь.

— Тихо, — сказал отец. — Тихо, Александр. Всё. Всё уже.

— Пусти! Это Марк! Пусти меня к нему!

— Саша! — Это была мать, и голос её сорвался на середине слова. — Сашенька!

— Елена, выйдите, — бросил Ган, не оборачиваясь.

Мать из зала не вышла. Я слышал, как она идёт к капсуле, как её шаги вдруг останавливаются, словно кто-то загородил ей дорогу, и как она что-то говорит, быстро и неразборчиво. Колонна над перегородкой издала долгий высокий звук, похожий на стон, линии на экранах заметались, а в шее у меня что-то потянулось и с влажным хлюпаньем вышло наружу, одна игла за другой, и каждая уносила с собой кусок боли.

Ган наклонился надо мной рядом с отцом. Очки у него съехали на самый кончик носа, лицо было сосредоточенное и спокойное, и он смотрел мне прямо в глаза, близко, так близко, что я видел каждую морщинку вокруг его век. Над его головой стояло всё то же неподвижное белое число, и я смотрел на это число, потому что больше смотреть было некуда.

— Дышите, Александр, — сказал Ган очень тихо и ровно, как говорят с испуганным ребёнком. — Дышите и смотрите на меня. Вот так.

Я посмотрел ему в глаза. Что-то укололо меня в плечо, коротко и почти безболезненно, и от этого места по руке и по груди пошёл холод, не такой, как от игл, а мягкий и ватный, как будто меня медленно засыпали снегом. Руки и ноги отяжелели, крик застрял в горле и растаял там, не родившись, и я перестал вырываться, потому что больше не мог вспомнить, зачем вырываюсь.

Я не потерял сознания сразу. Я лежал, и мир вокруг меня стал медленным и тихим, словно я опустился на дно бассейна и смотрю вверх сквозь толщу воды. Звуки доходили издалека, приглушённые и растянутые, а свет стал ещё белее, чем был, и в этом свете люди двигались плавно, как водоросли в течении.

Откуда-то сбоку вошли двое в серых халатах. Я узнал эти халаты, хотя никогда раньше не видел этих людей: в таких же серых халатах приходили врачи с Медицинского уровня к маленькой Лизе, шесть лет назад, когда она кашляла по ночам. Они подошли к соседней капсуле, что-то отсоединили от колонны, щёлкнули какими-то замками у постамента, и капсула вместе с постаментом дрогнула и поехала, бесшумно, на невидимых колёсах, мимо моего изголовья к круглой двери.

Она проехала совсем рядом, так близко, что я мог бы дотянуться до неё рукой, если бы рука меня слушалась. Простыня на Марке сбилась, и из-под неё свесилась вниз его левая рука, тонкая, серая, с проступающими костями запястья, с багровым следом от ремня. На внутренней стороне запястья, там, где у людей видны голубые жилки, у Марка был штрих-код, чёрные полосы разной толщины, вбитые в кожу, а под полосами мелкий ряд цифр.

Я попытался прочитать эти цифры. Всю жизнь я читал любые цифры с одного взгляда, пересчитывал, складывал, переводил в часы и годы, не задумываясь, как дышат. Сейчас цифры под штрих-кодом расплывались и прыгали, сливались в серую рябь, и я так и не смог прочитать ни одной, и это было первый раз в моей жизни, когда я не смог ничего сосчитать.

Над головой Марка, уплывающей от меня к двери, горело жёлтое число. Оно больше не катилось, оно стояло неподвижно, бледное, цвета старой бумаги, и я смотрел на него, пока капсула не въехала в круглый проём. Марк лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, и губы его шевелились, и я знал, хотя и не слышал, какие слова он повторяет.

Люк с глубоким вздохом закрылся за ними. Под потолком, прямо над тем местом, где только что стояла соседняя капсула, висела белая камера, похожая на каплю, и её красная точка медленно повернулась ко мне. Я смотрел на эту точку, и она смотрела на меня, единственная живая вещь в этом белом мире, кроме моего сердца.

— Всё хорошо, Александр. — Голос Гана опустился на меня откуда-то сверху, мягкий, тёплый и очень усталый, и чья-то сухая ладонь легла мне на лоб. — Всё уже позади. Чуть-чуть больно, а потом всё хорошо.

Я хотел ответить, что знаю эти слова, что их сказал мне Марк шесть лет назад на подоконнике в северном крыле и что их только что повторил он же, серым голосом, из соседней капсулы. Я хотел спросить, откуда их знает Ган, и откуда их знала Ника, и почему все в этом мире говорят одни и те же слова. Белый свет надо мной начал гаснуть, медленно, от краёв к середине, как гасло молочное стекло перегородки, только наоборот, и последним погасло жёлтое число, которое я всё ещё видел, хотя смотреть уже было не на что.

Глава 5

Я проснулся от света, и первые несколько секунд мне было хорошо. Купол над Шпилями светлел, как светлел каждое утро моей жизни, ровно в шесть, и белый потолок моей комнаты медленно наливался этим светом, сначала серым, потом жемчужным, потом чистым и тёплым. Я лежал на спине, укрытый до подбородка, слушал, как за окном шуршит по гравию поливальная машина, и не помнил ничего, кроме того, что выспался так, как не высыпался, кажется, никогда.

Тело было лёгким и сильным, словно за ночь его разобрали, промыли и собрали заново. Не ныли плечи, не тянуло в затылке, не давила на виски та привычная фантомная тяжесть, которую на Острове чувствует каждый и про которую никто не говорит. Мне хотелось встать, распахнуть окно, побежать по саду до самой оранжереи и обратно, и это желание было таким чистым и таким телесным, что я даже улыбнулся в потолок.

Потом я повернул голову, и шею под затылком дёрнуло тонкой колючей болью. Пальцы сами нашли это место и нащупали под волосами пластырь, широкий и гладкий, а под пластырем несколько твёрдых бугорков, похожих на следы от укусов. Я убрал руку и долго смотрел на свои пальцы, хотя на них ничего не было, и всё, что случилось вчера, вернулось ко мне сразу, целиком, без всякого порядка, как возвращается в комнату холодный воздух, когда распахивают дверь.

Перед глазами встал белый коридор без теней и кольцо, сомкнувшееся на шее. Потом пришло серое лицо за стеклом, моё лицо, высушенное двадцатью годами. Последними пришли жёлтые цифры, уплывающие к круглой двери.

Я сел на кровати так резко, что в глазах потемнело. На мне была пижама, тёмно-синяя, из гладкой прохладной ткани, и я не помнил, кто меня в неё переодевал. Белой одежды для ритуала нигде не было, ни на стуле, ни на крючке у двери, и я вспомнил, что в кармане белых штанов лежала записка Марка, которую Ада вчера задвинула пальцами поглубже.

Мне стало так страшно, как не было страшно даже вчера в капсуле. Я сбросил одеяло, перевернул подушку, ощупал простыню, заглянул под кровать, где не было ничего, кроме пыли, которой у нас в доме никогда не бывало. Записка нашлась там, где я искал в самом начале и не заметил, потому что спешил: в наволочке, внутри, у самого шва, сложенная не вчетверо, как складывал её я, а вдвое, аккуратно, по старому сгибу.

Я развернул листок дрожащими пальцами. Почерк Марка был на месте, кривые буквы, наползающие друг на друга, «ты теперь будешь за двоих» и «твой брат навсегда», и бумага была та же, жёлтая и мягкая, как ткань. Кто-то нашёл её в кармане, прочитал или не прочитал, сложил по-своему и спрятал туда, куда не заглянет прислуга, меняющая бельё. Я подумал о матери, потом об Аде, потом о том, что этим кем-то мог быть кто угодно в доме из двадцати двух слуг и сорока двух комнат, и сунул записку обратно, в наволочку, к самому шву.

В ванной было зеркало во всю стену, то самое, в котором я каждое утро видел своё число. Я подошёл к нему медленно, как подходят к краю обрыва, и сначала смотрел только себе под ноги, на белый пол с тёплыми плитками. Потом я всё-таки поднял глаза.

Из-под воротника пижамы на шею выползала чёрная сетка. Тонкие нити поднимались от ключиц вверх, ветвились, переплетались и расходились снова, обнимая горло с обеих сторон, и самые длинные из них дотягивались до мочек ушей, как дотягиваются до края горшка корни, которым стало тесно. Нити были не синие и не багровые, как бывают синяки, а именно чёрные, ровного чернильного цвета, и на белой коже они казались нарисованными.

Я потрогал одну из нитей пальцем. Кожа на ней была чуть прохладнее, чем вокруг, и это было единственное, что я почувствовал, потому что больно не было совсем. Мне вдруг

показалось, что если я надавлю сильнее, нить лопнет, и из неё потечёт что-то чужое, не моё, и я отдёрнул руку. Над моим отражением горело белое число.

9 185 803

Я смотрел на него долго. Считать я начал раньше, чем успел себе это запретить, потому что считал всю жизнь, и счёт шёл во мне сам, как идёт кровь. Вчера утром в капсуле над моим лицом стояло 8 610 934, за сутки должно было уйти около двухсот тридцати мест, а значит, мне добавили пятьсот семьдесят пять тысяч без малого.

Пятьсот семьдесят пять тысяч мест. Это две с половиной тысячи дней, почти семь лет. Семь лет, которых вчера у меня не было, а сегодня они были, и я стоял в тёплой ванной, свежий и выспавшийся, и чувствовал их в себе, как чувствуют сытость после хорошего обеда.

Потом я вспомнил число над Марком, белое, большое, миллион триста сорок с лишним тысяч, и то жёлтое, которое уплывало к двери, меньше восьмидесяти тысяч. Разница выходила больше миллиона двухсот тысяч мест, и сколько я ни пересчитывал, она не сходилась с моими пятьюстами семьюдесятью пятью. Где-то между его капсулой и моей пропало больше полумиллиона чужих мест, больше шести лет чьей-то жизни, и я не знал, куда они делись, и не мог ни у кого спросить, потому что пришлось бы объяснять, откуда я знаю число Марка.

Меня вырвало прямо в раковину, коротко и почти беззвучно. Я долго держал голову под холодной водой, пока не заломило виски, а потом выпрямился и посмотрел на себя снова. Лицо в зеркале было бледное, мокрое, с прилипшими ко лбу волосами, и это было лицо Марка, только на двадцать лет моложе.

Тоня постучала в начале девятого и вошла с подносом, не дожидаясь ответа, как входила всегда. Поднос она поставила на столик у окна, расставила чашку, молочник, тарелку под серебряной крышкой, сложила салфетку треугольником и только после этого повернулась ко мне. Глаза её скользнули по моей шее и тут же ушли в сторону, к окну, к шторам, которые она принялась раздвигать шире, чем они были раздвинуты.

— Доброе утро, Александр Викторович. Каша, яйца, хлеб тёплый. Хозяин велел, чтобы вы поели.

— Спасибо, Тоня.

— И вот ещё. — Она вынула из кармана передника маленькую плоскую баночку из матового стекла и поставила её рядом с чашкой. — Хозяйка просила передать. Сказала, тон ваш, она сама подбирала. Наносить пальцами, легко, от шеи вверх.

— Где мама?

— Хозяйке нездоровится. — Тоня поправила салфетку, которая лежала совершенно ровно. — Хозяин велел её сегодня не беспокоить.

— Что с ней?

— Не могу знать, Александр Викторович.

Над её головой стояло жёлтое **57 881**, бледное, как старая бумага. Позавчера ночью, когда мы сидели с ней на служебной кухне, было на триста мест больше, и я пересчитал это машинально, как пересчитываю всё, и сразу возненавидел себя за этот счёт. Тоня стояла в трёх шагах от меня, в накрахмаленном переднике, с покрасневшими от горячей воды руками, и ей оставалось меньше восьми месяцев, а мне только что подарили семь лет, и она старалась не смотреть на мою шею.

— Тоня, — сказал я. — Ты знала? Про то, что там бывает?

Она подняла на меня глаза, и я увидел в них не страх, а какое-то усталое удивление, как будто я спросил её, знает ли она, что вода мокрая. Потом она снова опустила взгляд и разгладила передник обеими ладонями, сверху вниз. Руки у неё чуть дрожали.

— Мы ничего не знаем, Александр Викторович. Мы подносы носим. — Она помолчала. — Кушайте, остынет. И вот ещё, Денис теперь в коридоре стоит. Хозяин велел. Вы не пугайтесь, если выйдете.

Она ушла, неслышно прикрыв за собой дверь, и я остался один с подносом и баночкой. Каша пахла молоком и корицей, хлеб был тёплый и мягкий, и я вдруг понял, что ужасно хочу есть, так хочу, как не хотел никогда в жизни. Я съел всё, до последней крошки, потому что тело требовало еды, а я не мог ему отказать, и мне казалось, что я кормлю не себя, а то чужое, что сидело теперь во мне и росло.

* * *

Отец пришёл ко мне около десяти. Я услышал его шаги в коридоре задолго до того, как он открыл дверь: ровные, неторопливые, на полтона тяжелее, чем у прислуги. Потом голос Дениса сказал «доброе утро, хозяин», и дверь открылась без стука.

Он был уже одет для Совета, в тёмный костюм, свежий и гладкий, и в руке держал свой планшет, как держал его всегда, словно без планшета его рука не знала, что ейделать. Вместе с ним в комнату вошёл запах кофе и одеколона, утренний запах, который я знал всю жизнь и который вчера был последним, что я чувствовал перед уколом. Отец не стал садиться рядом. Он прошёл к окну, встал спиной к свету, и лицо его оказалось в тени, а я сидел на краю кровати и смотрел на него снизу вверх.

— Ты поел, — сказал он, взглянув на пустую тарелку. — Хорошо. Эдуард сказал, что аппетит будет. Это нормально.

— Это был Марк.

— Да.

Он сказал это сразу, без паузы, просто и спокойно, как говорят «сегодня вторник». Я ожидал чего угодно, крика, отрицания, ласковых слов про то, что мне показалось и что под наркозом людям многое кажется. Я был готов к спору, а спорить оказалось не с чем, и эта пустота там, где должен был быть спор, испугала меня сильнее, чем испугал бы крик.

— Ты знал, — сказал я. — С самого начала. Что там будет он.

— Знал.

— И ничего мне не сказал.

— Не сказал. — Отец положил планшет на подоконник, экраном вниз. — Я хотел, чтобы ты узнал позже. Через год, через два, когда сможешь понять. Ты узнал вчера. Значит, будем говорить сейчас.

Над его головой стояло **14 203 557**. Я видел это число позавчера, за завтраком, накануне своего дня рождения, и неделю назад, и полгода назад, и оно было тем же самым, цифра в цифру. Шесть лет я смотрел, как это число стоит над отцом, неподвижное, как надгробная плита, и не понимал, как такое возможно, если Очередь движется для всех. Теперь я понимал, и моё понимание лежало где-то внизу, под Главным Шпилем, в белой капсуле, и каждые шесть минут кто-то другой расплачивался за то, что отец не становился ни на шаг ближе.

Я заставил себя смотреть ему в переносицу, как смотрел всю жизнь. Отец ничего не заметил, он никогда ничего не замечал, и я подумал, что за восемнадцать лет научился прятать от него только одно, а он от меня, оказывается, прятал всё. От этой мысли мне стало не легче, а только холоднее.

— Тогда говори, — сказал я.

Отец взял стул от письменного стола, поставил его напротив кровати и сел, положив руки на колени. Теперь его лицо было на одном уровне с моим, совсем близко, и я видел мелкие морщинки у глаз, которых раньше не замечал, и гладко выбритый подбородок, и тёмные, внимательные глаза. Так он садился напротив меня, когда мне было семь лет и я разбил вазу в Большой галерее, и тогда он тоже не кричал.

— Шесть лет назад сестра Марка умирала, — сказал отец. — Ты помнишь. Ты был у них в крыле, ты слышал, как она кашляет. Врачи с Медицинского уровня дали ей месяц. Лечение, которое было ей нужно, стоило больше, чем её семья заработала бы за три жизни.

— Я помню.

— Марку предложили сделку. Он отдаёт часть своих мест, её лечат. Ему объяснили, что это значит, честно, без прикрас. Он согласился сам. Я был при этом разговоре, Александр, и я его не уговаривал. — Отец помолчал. — Его сестру вылечили. Она жива.

— Ему было двенадцать.

— Да. — Отец не отвёл глаз. — На Острове в двенадцать лет работают на фильтрах. В двенадцать лет умирают по жребию, в двенадцать лет отдают годы матерям в кабинках. Двенадцать лет — это не оправдание и не обвинение. Это просто возраст.

Я молчал, потому что сказать мне было нечего. Всё, что говорил отец, было правдой, я знал это, потому что сам читал записку Марка, сам держал в руках слова «Лизку вылечат, мне это точно обещали», сам видел, как отец в капсуле не солгал мне ни разу. Каждое его слово ложилось на место, как камень в кладку, ровно и плотно, и из этих правдивых камней складывалась стена, за которой не было ничего, кроме Марка с жёлтым числом над головой.

— Он меня не узнал, — сказал я.

— Он никого не узнаёт. — Голос отца стал тише. — Это побочное действие. Память страдает первой. Ему не больно, Эдуард за этим следит.

— Он сказал: «чуть-чуть больно».

Отец ничего мне не ответил. Он смотрел на меня, и в лице его ничего не менялось, только пальцы правой руки чуть шевельнулись на колене, словно хотели взять планшет, которого там не было. За окном снова зашуршала по гравию поливальная машина, и этот звук был такой обыкновенный, такой утренний, что мне захотелось заткнуть уши.

— Где он сейчас?

— Там, где о нём заботятся. Его кормят, лечат, он спит в тепле и в чистоте. — Отец сказал это так, будто зачитывал отчёт. — Внизу, с матерью, он прожил бы меньше. Намного меньше.

— Сколько ему осталось?

— Этого я тебе не скажу.

Я знал ответ лучше, чем он думал. Меньше восьмидесяти тысяч мест, меньше года, жёлтые цифры цвета старой бумаги, и я видел, как они перещёлкнулись через границу, слышал этот щелчок у самого уха. Слова уже стояли у меня в горле, «у него меньше года, я видел, я видел его число», и я проглотил их, как глотают горячее, потому что за этими словами пришлось бы сказать и всё остальное. Отец ждал, но я молчал, и тогда он кивнул, словно моё молчание было разумным ответом.

— Почему он? — спросил я наконец. — Почему именно Марк? На Острове пять миллионов человек.

— Потому что он тебе подходил. — Отец произнёс это медленно, будто выбирал каждое слово. — Не всякий донор подходит всякому, Александр. Эдуард искал долго, и Марк подходил лучше всех. Вы с ним… — Он остановился. — Вы росли вместе. Ели одно и то же, дышали одним воздухом. Это тоже имеет значение.

Мне вспомнилась терраса, обед, хохочущий старший Ордынский, который не мог отличить нас друг от друга. Вспомнилось, как отец тогда сказал, что у меня нет брата, и как после этого Марка перестали пускать на террасу при гостях. Я хотел спросить, сколько лет он знал, что Марк мне подходит, и не спросил, потому что боялся услышать правдивый ответ.

— Вы его выпили, — сказал я. — Вы с Ганом. Ты стоял и смотрел.

— Мы взяли то, что он отдал. — Отец не повысил голос, только чуть выпрямился на стуле. — Ты думаешь, это слова. Это не слова, Александр. Это разница между грабежом и договором, и весь Остров стоит на этой разнице.

— Весь Остров стоит на том, что двенадцатилетних мальчиков кладут в капсулы?

— Весь Остров стоит на порядке. — Отец поднялся, подошёл к окну и остановился там, глядя на Купол. — Посмотри туда. Пять миллионов человек под одним небом, и за этим небом ничего нет. Пепел, ветер, мёртвая вода. Восемьдесят лет назад люди убили друг друга за еду,

за воду, за место в убежище. Мой отец это видел. Я это видел, мне было шесть, и я помню, как горел горизонт.

Он говорил ровно, не оборачиваясь, и голос его звучал так, словно он повторял это много раз, себе самому, по ночам. Я смотрел на его спину, на широкие плечи под тёмной тканью, на затылок с аккуратно подстриженными седеющими волосами. Над затылком висело неподвижное белое число, и мне казалось, что оно давит ему на плечи, как давит груз.

— Очередь остановила это, — сказал отец. — Люди перестали драться, потому что драться стало бессмысленно. Каждая смерть — две, и все это знают. Но Очередь — это машина, Александр, а машине нужны люди, которые знают, как она работает. Купол, фильтры, Склады, энергия, шахты. Если каждый, кто это знает, будет уходить в свои шестьдесят, через три поколения не останется никого. Остров не протянет без нас и десяти лет. Внизу начнут резать друг друга за пакет еды, и каждая смерть будет двумя, и через месяц не останется никого, ни внизу, ни наверху.

— И поэтому вы живёте вечно.

— Поэтому мы держим небо. — Отец обернулся, и свет из окна обвёл его фигуру светлой каймой. — Мы — атланты, Александр. Это не красивое слово для тостов. Атлант стоит, и на плечах у него небо, и он не может опустить руки, даже если устал, даже если ему жалко тех, кто внизу. Атлант, который опустит руки из жалости, убьёт всех, кого пожалел.

Я смотрел на него и не мог найти ни одного слова, которое было бы ложью. Мне так хотелось, чтобы он соврал хоть раз, хоть в одном месте, тогда я ухватился бы за это место, как за край обрыва, и потянул бы, и вся его стена рассыпалась бы у меня в руках. Отец не врал, и от этого становилось только страшнее, потому что правда, сказанная таким спокойным голосом, была тяжелее любой лжи.

— Я больше туда не лягу, — сказал я.

— Ляжешь. — Отец сказал это без угрозы, почти мягко. — Не сейчас. Через год, через два, когда поймёшь. Я тоже говорил это своему отцу, слово в слово, сидя на такой же кровати. Он мне не поверил и был прав.

— Я не ты.

— Нет. — Отец подошёл, наклонился и положил ладонь мне на голову, как клал в детстве, и пальцы его были тёплые и сухие. — Ты лучше. Ты всегда был лучше, Александр. Поэтому тебе сейчас так плохо.

Я не отстранился от его руки. Мне хотелось отстраниться, сбросить его руку, ударить по ней, но тело моё, сытое и отдохнувшее, тело, в котором жили семь чужих лет, сидело неподвижно и принимало эту ладонь, как принимало всю жизнь. Я ненавидел его за это сильнее, чем ненавидел отца.

— Несколько дней ты побудешь дома, — сказал отец, убирая руку. — Денис будет рядом. Это не наказание.

— Это арест?

— Это забота. — Он взял с подоконника планшет. — И к маме сегодня не ходи. Она плохо спала, у неё мигрень.

— Я хочу её видеть.

— Завтра. — Отец уже стоял у двери. — Ещё одно, Александр. Ника Вольская спрашивала о тебе. Её отец звонил мне вчера вечером. Я сказал, что ты будешь рад её видеть.

— Ты не спросил меня.

— Я тебя знаю, — сказал отец и вышел.

Дверь закрылась мягко, без щелчка. Я слышал, как он что-то коротко сказал Денису в коридоре, как его шаги удалились к лестнице, и ещё долго сидел на кровати, глядя на стул, который он поставил напротив меня и забыл вернуть к столу. На сиденье стула осталась маленькая вмятина, и запах кофе висел в комнате ещё почти час.

* * *

День тянулся медленно, как тянутся дни, когда болеешь в детстве и тебя не пускают гулять. Я пробовал читать и не понимал ни строчки, пробовал лечь и не мог лежать, потому что тело было полно сил и требовало движения. Каждые полчаса я подходил к зеркалу в ванной, смотрел на своё число и вычитал, и число уменьшалось ровно так, как уменьшалось у всех, по десять мест в час, и от этой правильности меня мутило.

После обеда я вышел из комнаты. Денис действительно стоял в коридоре, у окна, широкий и спокойный, в сером форменном пиджаке, и при моём появлении выпрямился. Над его головой стояло белое число, лет на сорок с лишним, и я заметил, что он смотрит не на меня, а чуть выше моего плеча, как его учили смотреть на хозяев.

— Я в сад, — сказал я.

— Хорошо, Александр Викторович. — Денис отлепился от окна. — Я с вами. Хозяин велел.

Он шёл за мной в пяти шагах, по лестнице, через холл, мимо зеркала с бронзовыми листьями, у которого мы с Марком когда-то играли в отражение. Я остановился перед этим зеркалом на секунду и увидел себя, бледного, в высоком воротнике свитера, который закрывал шею до самого подбородка, и своё белое число над головой. Денис в зеркале стоял у меня за спиной, смотрел в сторону, и его число было меньше моего почти втрое.

У двери в комнаты матери я замедлил шаг. Дверь была закрыта, из-под неё не пробивалось ни полоски света, и в коридоре было так тихо, что я слышал, как за стеной тикают её старые настенные часы. Я поднял руку, чтобы постучать, и почувствовал, как Денис у меня за спиной переступил с ноги на ногу, и опустил руку.

Сад был залит ровным послеполуденным светом. Пахло хвоей, нагретой землёй и чем-то сладким, медовым, от клумб у фонтана. На дорожке у розария Илья, помощник Ефима, стоял на коленях и подрезал кусты, неумело, слишком коротко, и каждый раз, когда секатор щёлкал, я вздрагивал.

Я подошёл к белому кусту у края розария, к тому самому, на котором мы с Марком весной, шесть лет назад, сделали свою первую прививку. Ефим тогда сказал, что у нас лёгкие руки и что привой примется, и он принялся, и теперь от того места, где мы обмотали ветку садовым варом, тянулся вверх толстый побег с тремя тугими белыми бутонами. Я стоял и смотрел на эти бутоны и думал, что куст ничего не знает и цветёт себе, как цвёл бы при любом хозяине.

Под карнизом оранжереи, в тени, горела красная точка камеры. Она медленно повернулась вслед за мной, когда я отошёл от куста, и я подумал, что вчера в зале Обновления точно такая же точка смотрела на меня сверху, когда увозили Марка. Здесь, в саду, за мной смотрели всю жизнь, и я никогда не задумывался, кто сидит по ту сторону этих точек и зачем им смотреть на пустые дорожки.

* * *

Ника пришла, когда Купол начал темнеть. Я сидел на террасе, на той самой, куда после обеда с Ордынскими перестали пускать Марка, и смотрел, как небо над Шпилями наливается сначала розовым, потом сиреневым, потом глубоким синим. В восемь вечера свет начинает уходить, к девяти уходит совсем, и этот час между светом и темнотой я любил с детства, потому что в нём всё казалось мягче, чем было на самом деле.

Я услышал её раньше, чем увидел: лёгкие быстрые шаги по каменным плитам и тихий звон браслета. Она вышла на террасу из гостиной, в светлом пальто, накинутом на плечи, с маленькой сумочкой в руке, и остановилась в нескольких шагах от меня, словно не знала, можно ли подойти ближе. Денис, стоявший у двери, бесшумно отступил в дом.

— Привет, — сказала Ника.

— Привет.

Она подошла и села рядом со мной на каменную скамью, близко, так что её плечо коснулось моего. От неё пахло тем же цитрусовым запахом, что и на приёме, и этот запах на секунду вернул меня на два дня назад, в Большую галерею, к скрипкам и бокалам, к её ладоням на моих глазах. Над её головой плыло белое **9 639 642**, и я пересчитал его, не успев остановиться: с вечера приёма ушло четыреста семьдесят мест, ровно столько, сколько ушло бы у любого.

— Папа сказал, ты сорвал процедуру, — сказала Ника. — Весь Шпиль уже знает. Ордынская утром звонила маме, спрашивала, правда ли, что ты кричал.

— Правда.

— Ох, Александр. — Она взяла мою руку в свои, и пальцы у неё были прохладные. — Ты хоть понимаешь, что теперь начнут говорить?

— А что говорят про то, кто лежал рядом? — спросил я. — Про это Ордынская тоже звонила?

Ника медленно отпустила мою руку. Она не отодвинулась, но я почувствовал, как напряглось её плечо, прижатое к моему. В саду за балюстрадой загорелись первые фонари вдоль дорожек, жёлтые и неяркие, и где-то у фонтана Илья гремел пустыми вёдрами, собирая инструмент.

— Ты знала, — сказал я. — Тогда, на приёме. «Не смотри в соседнюю». Ты знала, что там будет.

— Я знала, что там кто-то будет. — Ника говорила тихо и быстро, глядя на свои колени. — Я не знала, кто. Клянусь тебе, я не знала, что это будет он. Этот мальчик.

— Его звали Марк.

— Я помню, как его звали.

— Позавчера ты не помнила.

Она подняла на меня глаза, и в них стояли слёзы, но голос у неё не дрожал. Я смотрел на её лицо, на волосы цвета мёда, на губы, которые я целовал тысячу раз, и пытался найти в этом лице ту девушку, которая смеялась у меня за спиной на приёме, и находил, и от этого было ещё хуже. Её пальцы снова нашли браслет и замерли на нём.

— Я хотела тебя уберечь, — сказала Ника. — Понимаешь? Мне самой никто ничего не сказал. Мне сказали: смотри вверх, на своё число, это успокаивает. И я смотрела. Я не поворачивала голову ни разу, ни на секунду. Я хотела, чтобы ты тоже не смотрел, чтобы тебе было как мне. Не страшно.

— И как тебе было?

— Хорошо. — Она сказала это тихо, почти шёпотом, и сама испугалась этого слова. — Сначала больно, а потом тепло. Ты же знаешь. Ты сам знаешь, как это.

Мне ничего не нужно было объяснять. Тепло, разливающееся по груди, медленное и густое, как горячий чай в замёрзшем горле, и тело, которое пьёт его, не чувствуя жажды. Я знал это лучше, чем хотел бы знать, и Ника видела по моему лицу, что я знаю, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение.

— Кто был у тебя? — спросил я.

— Не знаю. — Ника покачала головой. — Я правда не знаю. Я видела только руку, когда её увозили. Тонкая рука, женская, наверное. А на запястье полоски такие, чёрные, как на упаковках со Склада.

Я на секунду закрыл глаза. Полоски на запястье, чёрные, разной толщины, вбитые в кожу, и ряд мелких цифр под ними, которые я так и не смог прочитать. Ника видела это полгода назад и сказала мне «прививка», и смеялась, и поправляла колье.

— А колье? — Я открыл глаза. — На приёме. Ты сказала, что обожглась щипцами. Некросетка сходит за неделю, Ника. Ган сказал, за неделю. Твоей было не полгода.

Ника долго ничего не отвечала. Она подняла руку к шее и накрыла колье ладонью, словно хотела спрятать его вместе с тем, что было под ним. Свет на террасе почти совсем ушёл, и лицо её стало серым и нечётким, как лицо на старом снимке.

— Это поддерживающая, — сказала она наконец. — Немного. Папа говорит, после первого раза надо закрепить, иначе организм отвыкает. Тысяч тридцать, не больше. Ерунда.

— Тридцать тысяч — это четыре месяца. — Голос у меня сорвался. — Четыре месяца чьей-то жизни, Ника.

— Это четыре месяца моей жизни! — Она вскинула голову. — Моей, Александр! Почему ты думаешь только о них? Почему никто никогда не думает о нас? Ты думаешь, мне было легко? Я неделю не спала после первого раза. Я плакала каждую ночь, мама приходила сидеть со мной. Потом папа сел рядом и всё мне объяснил. Они соглашаются сами. Им платят. Их семьи живут лучше, чем жили бы. Без нас Остров не продержится и десяти лет.

Она говорила словами моего отца, почти слово в слово, только быстрее и громче, словно боялась, что если остановится, то забудет, как дальше. Я слушал и думал, что Арсений Вольский, наверное, тоже сидел на краю её кровати, с такими же сухими тёплыми руками, и тоже ни разу не солгал. Где-то в доме пробили часы, девять раз, и с последним ударом Купол над нами стал совсем тёмным.

— Все так делают, Саша, — сказала Ника. — Твой отец, мой отец, Штайны, Ордынские, Ганы. Лев прошёл два года назад и ничего, живёт. Все. Это просто цена.

Я услышал это имя не сразу. Сначала я услышал всю фразу целиком, её смысл, её интонацию, мягкую и уговаривающую, как уговаривают ребёнка выпить лекарство. Потом до меня дошло, как она меня назвала, и я повернулся к ней.

— Ты назвала меня Саша.

— Да. — Ника слабо улыбнулась. — Тебе не нравится?

— Ты никогда так меня не называла.

— Я хотела быть ближе. — Она снова взяла мою руку. — Мы теперь… Понимаешь, теперь ты такой же, как я. Теперь мы с тобой одинаковые. Мне больше не надо от тебя ничего прятать, а тебе не надо прятать от меня. Разве это плохо?

Так меня звали только два человека на свете. Мать, когда мы оставались одни и когда ей было страшно за меня, и Марк, всегда, с тех пор как мы научились говорить, и ещё он звал меня Тенью, и это имя не знал никто, кроме нас троих. Теперь моё имя лежало у Ники на губах, лёгкое и привычное, как будто она подобрала его на полу, и я понял, что она пришла сюда не утешать меня и не просить прощения. Она пришла, чтобы посмотреть на мою шею и убедиться, что я теперь такой же.

Её пальцы гладили мою ладонь, медленно, от запястья к кончикам пальцев, и это было приятно, как было приятно тепло в капсуле. Я смотрел на её шею, на широкое золотое колье, на кожу у его края, где ещё позавчера чернела сетка, а теперь осталась только чуть заметная тень. Ника знала всё и улыбалась мне на приёме, и целовала в щёку, и шептала про прививку, и в ту минуту, когда она шептала, я верил ей больше, чем кому-либо в Шпилях.

— Ты принесла мне что-то, — сказал я. — В сумочке.

— А, да. — Ника оживилась, открыла сумочку и достала сложенный шёлковый платок, тёмно-серый, с едва заметным серебряным узором. — Вот. Это лучше, чем крем, крем на воротнике пачкается. Повязываешь вот так, свободно, узел сбоку. Мальчики в Шпилях так носят, когда… ну, ты понимаешь. Никто не спросит. Давай я покажу.

Она привстала, наклонилась ко мне и обернула платок вокруг моей шеи, поверх воротника свитера, и пальцы её двигались ловко и привычно, как будто она делала это много раз. Узел лёг сбоку, под левым ухом, и шёлк холодно скользнул по коже, по чёрным нитям, которых она не видела под свитером, но знала, что они там. Ника отстранилась, посмотрела на меня, склонив голову, и улыбнулась.

— Вот. Совсем как раньше. — Она помолчала, и улыбка медленно сошла с её лица. — Саша. Ты ведь ничего не будешь делать?

— Что, например?

— Не знаю. — Ника отвела глаза. — Шуметь. Задавать вопросы. Искать этого… Марка. Папа сказал, твой отец очень беспокоится. Если ты начнёшь шуметь, будет плохо. Не только тебе. Нам всем. Мне.

— Тебе?

— Мы же пара, Саша. — Она сказала это так просто, будто напоминала мне о погоде. — Все это знают. Если что-то будет с тобой, это будет со мной тоже. Папа сказал, что нам с тобой надо держаться вместе, особенно сейчас.

Я смотрел на неё и думал о том, что ещё позавчера сидел бы с ней на этой скамье совсем иначе, держал бы её руку и не замечал бы ни платка, ни колье. Теперь я замечал всё: её пальцы, которые завязали узел так привычно, тонкую тень у края колье, белое число над её головой, огромное и спокойное. Где-то глубоко под нами, под камнем Шпиля, остались белая капсула Марка и тонкая рука с полосками на запястье, которую Ника видела полгода назад, и оба наших числа выросли оттуда.

— Иди домой, Ника, — сказал я.

— Саша…

— Пожалуйста. Иди домой.

Она посидела ещё немного, не двигаясь, потом встала и запахнула пальто. Лица её в темноте я почти не видел, только светлое пятно и блеск глаз, и браслет, который тихо звякнул, когда она убрала руку с моего плеча. Она наклонилась и поцеловала меня в щёку, как целовала на прощание всю жизнь, и губы у неё были мокрые и солёные.

— Я тебя люблю, — сказала она. — Это же ничего не меняет, правда?

Я ничего ей не ответил. Ника постояла ещё секунду, ожидая, потом повернулась и пошла к двери гостиной, быстро, почти бегом, и в освещённом проёме я увидел, как она поднесла ладонь к глазам. Белое число над её головой качнулось и исчезло вместе с ней за дверью, а Денис снова шагнул на террасу и встал у стены, глядя куда-то поверх моей головы.

Я сидел на террасе до тех пор, пока не замёрз. В саду за балюстрадой погасли фонари вдоль дорожек, остались только два у фонтана, и в их жёлтом свете белый куст у края розария казался серым. Платок на шее был холодный и гладкий, и я так и не снял его, потому что развязать узел, завязанный Никой, значило бы признать, что она его завязала.

Ника не солгала мне ни разу, понял я, сидя в темноте. Ни на приёме, ни сегодня. Она сказала «прививка», и это было правдой, как правдой было и всё, что говорил отец, она сказала «чуть-чуть больно, а потом всё хорошо», и это тоже было правдой. Она просто знала, что меня ждёт, и выбрала не говорить, и улыбалась, и шептала про потолок, и выбирала так каждый день, все полгода, глядя мне в глаза, а теперь пришла посмотреть, получилось ли у них со мной то же, что получилось с ней.

В своей комнате я не стал зажигать свет. Я подошёл к окну, и тёмное стекло отразило меня, смутно, без деталей, только светлое пятно лица и серую полосу платка на шее. Над отражением дрожало мерцание, неясное и бледное, потому что в тёмном стекле чип узнавал моё лицо плохо, и я не мог прочитать ни одной цифры.

Мне и не нужно было их читать. Я знал своё число и знал, каким оно было вчера утром, до того как опустилась крышка, и разница стояла у меня перед глазами ясно, как стояла бы на любом зеркале. Эти места не были моими, они пришли ко мне по кабелям из соседней капсулы, из серого высохшего лица, из губ, повторявших чужие слова, и я носил их в себе, как носят чужое пальто, не свою вещь, которую надо вернуть.

574 869

Песочные часы стояли на подоконнике, там, где я оставил их позавчера ночью. Пепельный песок давно весь лежал в нижней колбе, ровной серой горкой. Я взял часы в руки, подержал, чувствуя пальцами холод старого стекла, и перевернул.

Песок потёк вниз тонкой струйкой, почти беззвучно, с тем едва слышным шорохом, с каким осыпается сухая земля. Ровно шесть минут, подумал я. Через шесть минут где-то на Острове кто-то дойдёт, сядет на скамейку и больше не встанет, как сел Ефим, а через двенадцать минут дойдёт следующий. Где-то далеко внизу Марк лежал в тепле и в чистоте, с жёлтым числом над обритой головой, и повторял в темноту свою молитву, а я стоял у окна и считал не минуты, а то, сколько мне нужно ему вернуть.

Глава 6

В ту ночь я почти не спал, и под утро, задолго до того, как Купол начал светлеть, я лежал на спине и считал. Считать было нечего, кроме одного числа, и я считал его снова и снова, как перебирают чётки, пока пальцы не запомнят каждую бусину. Над Марком в зале Обновления, когда его увозили к круглой двери, горело меньше восьмидесяти тысяч, и с тех пор прошло двое суток.

Двое суток по двести тридцать мест выходило четыреста шестьдесят. Значит, сейчас, в эту самую минуту, над его обритой головой стояло меньше семидесяти девяти с половиной тысяч, а это около трёхсот сорока пяти дней, если никто больше не нальёт себе из него, как налили вчера мне. Я повторил эту цифру шёпотом, в темноту, и она прозвучала так буднично, так по-домашнему, что мне захотелось ударить кулаком в стену.

Триста сорок пять дней были почти год. Ещё три дня назад это показалось бы мне огромным сроком, за который можно успеть что угодно, выучить язык, вырастить розовый куст, влюбиться и разлюбить. Теперь я лежал и понимал, что это ничто, потому что Марк лежал где-то внизу, в тепле и в чистоте, и кто угодно мог в любой день прийти и забрать у него ещё.

За окном было темно, только у фонтана горели два дежурных фонаря, и их жёлтый свет падал на потолок моей комнаты двумя бледными пятнами. Я смотрел на эти пятна и думал о том, что отец сказал мне вчера, будто я ещё лягу туда сам, через год или через два. Он сказал это так уверенно, словно уже видел меня в капсуле, повзрослевшего и всё понявшего, со спокойным лицом и с чужим мальчиком за матовым стеклом.

Мне вдруг стало ясно, что он прав. Пройдёт год, может быть два, и я лягу, если останусь здесь, в этой комнате, с этим окном и с Денисом в коридоре. Я привыкну к платку на шее, как привыкла Ника, привыкну смотреть вверх, на своё число, и однажды утром проснусь отдохнувшим и сильным и не вспомню, чьё лицо было за перегородкой.

Я сел на кровати и опустил ноги на пол. Пол был тёплый, как всегда, и комната пахла чистым бельём и немного хвоей из приоткрытой форточки. Мне надо было найти Марка, и эта мысль пришла ко мне не как решение, а как простое знание, такое же ясное, как знание о том, что утром Купол посветлеет в шесть.

Я не знал, где он, и не знал, как туда попасть. Я не знал даже, в какую сторону идти, потому что за восемнадцать лет ни разу не спускался ниже Медицинского уровня, а о том, что лежит под ним, знал только по Сводкам и по рассказам прислуги. Всё это не имело значения, и я впервые в жизни сказал себе не «надо спросить отца», а «я найду», и сам удивился, как легко это слово легло на язык.

* * *

Завтракать меня позвали в малую столовую, и я понял, что что-то изменилось, ещё на лестнице. У двери моей комнаты стоял не один Денис, а двое: рядом с ним, чуть поодаль, у окна, ждал незнакомый мне человек в тёмно-сером форменном костюме без нашивок. Он был сухой, жилистый, с коротко стриженными светлыми волосами и с таким лицом, какие бывают у людей, привыкших подолгу стоять неподвижно.

— Доброе утро, Александр Викторович, — сказал Денис. — Это Ласло. Он теперь тоже при вас.

— При мне?

— По ночам, — сказал Ласло. Голос у него был тихий и ровный. — Днём Денис, ночью я. Распоряжение хозяина.

Над Ласло висело белое число, лет на тридцать с небольшим, и я машинально пересчитал его, прежде чем успел отвести глаза. Он смотрел не на меня, а на мою шею, на серый платок,

завязанный узлом под левым ухом, и смотрел так внимательно и спокойно, как смотрят на замок, который придётся охранять. Мне захотелось поднять воротник выше, и я не поднял.

Отец уже сидел за столом, с планшетом слева от тарелки и с чашкой кофе в руке. Он кивнул мне, не вставая, и я сел напротив, на своё обычное место, откуда в окно была видна оранжерея и край розария. Место матери, справа от отца, было пустым, и на нём не стояло даже прибора, словно её никогда не было за этим столом.

— Ты видел Ласло, — сказал отец.

— Видел.

— Хорошо. Он из охраны Совета. Маргарита рекомендовала. — Отец сделал глоток и поставил чашку на блюдце, точно в середину. — Ночью у ворот будут стоять ещё двое. Ищейки, из людей Гончего. Маргарита предложила, я согласился. Лев сам вызвался дежурить, он рядом живёт.

— Ищейки, — повторил я. — У нашего дома.

— У нашего дома, у дома Вольских и у дома Ордынских. Это обычная мера, Александр. — Отец разрезал яйцо пополам, аккуратно, одним движением ножа. — После таких историй в Шпилях бывает неспокойно. Люди говорят лишнее, кто-то внизу слышит, кто-то делает выводы. Это ради твоего же блага.

— А мой браслет?

Я спросил наугад и сразу понял, что угадал, потому что отец на секунду поднял глаза от тарелки. Браслет на моём левом запястье, тонкий, металлический, с тёмной вставкой, я носил с десяти лет. Он открывал мне двери дома, пассажирский лифт к Главному Шпилю и ворота в сад Вольских, и я никогда о нём не думал, как не думают о собственных ногтях.

— Твой браслет пока не открывает лифты, — сказал отец. — Это ненадолго. Несколько дней.

— Ради моего блага.

— Да. — Он не услышал насмешки или сделал вид, что не услышал. — Ешь. Эдуард сказал, тебе нужно есть.

— Я хочу видеть маму. Ты обещал. Ты сказал «завтра».

Отец положил нож и вилку на край тарелки, параллельно друг другу. Над его головой стояло всё то же неподвижное **14 203 557**, и я смотрел ему в переносицу, как смотрел всегда, и чувствовал, как это число давит мне на глаза, не давая поднять взгляд выше. За окном Илья катил к розарию тачку с землёй, и колесо тачки поскрипывало на каждом обороте.

— Мама нездорова, — сказал отец. — Эдуард был у неё вчера вечером, дал ей капли. Она много спит. Ей нужен покой, Александр, а ты сейчас не тот человек, рядом с которым можно отдохнуть.

— Я её сын.

— Именно поэтому. — Отец снова взял чашку. — Ты расстроен, она расстроена. Вы будете плакать друг у друга на плече, а потом она не уснёт до утра. Подожди пару дней. Я скажу тебе, когда можно.

Я молчал и смотрел на пустое место справа от него. Три дня назад, утром перед ритуалом, мать сидела там и держала мои пальцы так долго, что отец дважды посмотрел на часы, и сказала мне, что бы я ни увидел, я не виноват. Теперь от неё не осталось даже чашки, и отец пил свой кофе и читал планшет, и в столовой пахло свежим хлебом и маслом, как в любое другое утро.

* * *

После завтрака я спустился в служебный ярус. Денис шёл за мной, отставая на пять шагов, и не сказал ни слова, когда я свернул с парадной лестницы на узкую служебную, по которой хозяева не ходили. Ступеньки здесь были не каменные, а металлические, рифлёные, и они гулко отзывались под ногами, так что я слышал и свои шаги, и его, тяжёлые и ровные.

Внизу пахло крахмалом и горячим паром из прачечной, и этот запах ударил меня так неожиданно, что я остановился на последней ступеньке. Так пахли руки тёти Ани, когда она гладила нас с Марком по головам, и так пахла её серая рабочая одежда, висевшая на крючке у двери крыла. Прачечная работала, как работала всегда, за приоткрытой дверью шипели прессы, и две незнакомые мне женщины в белых косынках складывали простыни, не поднимая глаз.

Я прошёл мимо них по коридору, к общей спальне, туда, где когда-то жила Тоня. Коридор кончался широкой металлической дверью, выкрашенной в серый цвет, с панелью на стене, и я знал эту дверь, хотя никогда к ней не подходил. Это был служебный грузовой лифт, тот самый, о котором Тоня рассказывала мне три ночи назад, тот самый, который приехал однажды под утро и увёз вниз плачущую Лизу.

Перед дверью стоял стул, и на стуле сидел ещё один человек в сером костюме без нашивок. Увидев меня, он поднялся, и я заметил, что панель на стене заклеена полосой белой ленты, а на ленте кто-то написал от руки: «На обслуживании». Над человеком висело белое число, долгое и спокойное.

— Лифт не работает, Александр Викторович, — сказал он вежливо. — Ремонт.

— Давно?

— Со вчерашнего дня.

Я постоял перед серой дверью ещё немного, разглядывая её так, словно мог увидеть сквозь неё шахту и уходящие вниз тросы. Денис у меня за спиной переступил с ноги на ногу, как переступал вчера у двери матери, и я понял, что он ждёт, когда я уйду. Отец закрыл мне всё, что можно было закрыть, и сделал это вежливо, заботливо, с белой лентой и надписью от руки, чтобы никто не мог сказать, что это тюрьма.

Обратно я шёл медленно и смотрел по сторонам. В служебном ярусе было много дверей, гораздо больше, чем я помнил, и за многими из них что-то гудело, шипело или постукивало, ровно и неутомимо, как стучит сердце. В самом конце коридора, у поворота к северному крылу, где жил Марк, была ещё одна дверь, узкая и низкая, с табличкой «Технический этаж. Посторонним вход воспрещён», и на ней висел обычный механический замок.

Марк знал все тайники в этом доме. Он говорил, что ему мама рассказывала, и я никогда не спрашивал, откуда тётя Аня, прачка, могла знать о доме больше, чем знал мой отец. Я прошёл мимо узкой двери, не замедлив шага, и запомнил её так, как запоминают лицо в толпе.

* * *

День прошёл, как проходит день в больнице, когда ждёшь врача. Я сидел у себя, листал книги, не видя страниц, и каждый час подходил к окну, за которым по саду медленно двигались садовники и садовые машины. Денис сидел в коридоре на стуле, который ему принесли, и когда я выглядывал, он каждый раз поднимался, вежливо и терпеливо, как поднимаются перед хозяином.

Тоня принесла обед и потом ужин, и оба раза задерживалась в комнате дольше, чем нужно, поправляя салфетку и шторы. Над ней стояло жёлтое **57 536**, и я уже не пересчитывал, сколько ушло со вчерашнего утра, потому что знал это и без счёта. Вечером, ставя поднос, она вдруг наклонилась ко мне ближе, чем позволяла себе обычно, и я почувствовал запах мыла от её рук.

— Хозяйка про вас спрашивала, — сказала она почти беззвучно. — Через дверь. Я ей суп носила, а она через дверь спросила, поели ли вы.

— Она заперта?

— Не могу знать, Александр Викторович. — Тоня выпрямилась и сказала уже громко, обычным голосом: — Кушайте, пока горячее.

Она ушла, и я долго смотрел на закрытую дверь. Суп был густой и горячий, с белым хлебом и сметаной, и я съел его весь, хотя есть не хотелось, потому что тело по-прежнему

требовало еды, много, больше, чем раньше. Мне казалось, что я кормлю не себя, а те семь чужих лет, которые сидели во мне и тоже хотели есть.

Купол потемнел в девять, и почти сразу же за дверью сменилась охрана. Я слышал, как Денис сказал «спокойной ночи», как Ласло ответил ему что-то коротко, как скрипнул стул, на который он сел. Потом в замке моей двери тихо, почти неслышно провернулся ключ, и этот звук, сухой короткий щелчок, был таким знакомым, что я вздрогнул.

Так щёлкали цифры над головой человека, когда его число становилось на одно место меньше. Так щёлкнуло число Марка, когда перешло из белого в жёлтое, у самого моего уха, в зале под Главным Шпилем. Я лёг в кровать, не раздеваясь, и укрылся одеялом до подбородка, на случай если Ласло откроет дверь и заглянет.

Я не спал, но всё-таки, наверное, задремал, потому что не услышал, как открылась дверь гардеробной. Я услышал только шорох, совсем тихий, похожий на шорох песка в часах, и потом почувствовал, как кто-то сел на край моей кровати. Матрас прогнулся, и от того, кто сел, пахло лавандой и чем-то горьким, аптечным, незнакомым.

— Тише, — сказала мать. — Саша, тише. Это я.

Я рывком сел, и она поймала мою руку и сжала её обеими ладонями, сильно, до боли. В комнате было почти темно, только из окна падал бледный свет дежурных фонарей, и в этом свете я видел её лицо, серое, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами. Волосы она собрала в простой узел на затылке, и на ней было не домашнее платье, а тёмный свитер и тёмные брюки, каких я никогда на ней не видел.

— Мама. Как ты…

— Через гардеробную. — Она кивнула в сторону приоткрытой двери, за которой чернела вешалка с моими костюмами. — Там за задней стенкой служебный проход. Им носят бельё, чтобы прислуга не ходила по хозяйским коридорам. Дверь заперли позавчера, но ключи от этого дома у меня все. Восемнадцать лет я в нём хозяйка.

— Отец сказал, ты больна.

— Отец сказал. — Она чуть заметно усмехнулась, и усмешка вышла кривой. — Эдуард дал мне капли. Я их не пью. Выливаю в раковину и сплю днём, чтобы ночью не спать.

Над её головой горело белое **2 903 230**, и я пересчитал его прежде, чем успел остановиться. С утра ритуала ушло шестьсот тридцать с небольшим мест, ровно столько, сколько должно было уйти почти за трое суток, и её число по-прежнему шло так, как шло у всех, без прибавок и без остановок. Я смотрел на это число и думал, что она одна в нашем доме ничего ни у кого не взяла, и от этой мысли мне стало одновременно легче и страшнее.

— Он запер тебя, — сказал я. — Из-за меня. Из-за того, что ты не вышла из зала.

— Он запер меня, потому что боится. — Мать говорила тихо и быстро, не отпуская моей руки. — Не меня боится, Саша. Того, что я тебе скажу. Слушай. У нас мало времени, и я не знаю, сколько у меня хватит сил, поэтому слушай и не перебивай.

Она наклонилась и достала с пола у кровати что-то тёмное, мягкое, свёрнутое валиком. Это оказалась одежда: серая куртка на молнии, с высоким стоячим воротником, серые штаны из грубой плотной ткани и тяжёлые ботинки на толстой подошве. От одежды пахло крахмалом и паром, тем самым запахом прачечной, который ударил меня утром на служебной лестнице.

— Это рабочее, из прачечной, — сказала мать. — Так одеваются техники, которые ходят по нижним этажам. Воротник закроет шею. Переоденься, только тихо.

— Мама…

— Переоденься, Саша.

Я переодевался в темноте, на ощупь, и мать отвернулась к окну, как отворачивалась, когда я был маленьким и стеснялся её. Ткань была жёсткая и колючая, совсем не похожая на ткани, которые я носил всю жизнь, и ботинки оказались чуть велики, так что пришлось

затянуть шнурки до упора. Воротник куртки поднялся до самого подбородка и закрыл шею целиком, вместе с чёрными нитями, которые я почти перестал чувствовать.

Платок Ники я снял последним. Узел, который она завязала вчера, развязался не сразу, пальцы путались в гладком шёлке, и мне пришлось долго тянуть за кончик, прежде чем ткань соскользнула с шеи. Я сложил платок вдвое и положил его на подушку, на то место, где только что лежала моя голова, и тёмно-серый шёлк с серебряным узором остался там, как оставляют на кровати записку.

Потом я сунул руку в наволочку, к самому шву, и достал записку Марка. Она была на месте, сложенная вдвое, как сложил её неизвестно кто, и я переложил её во внутренний карман куртки, застегнул карман на пуговицу и прижал ладонью. Мать смотрела на меня через плечо и ни о чём не спросила, и я тоже ни о чём её не спросил.

— Сядь, — сказала она. — Сюда, ближе.

Я сел рядом с ней на край кровати. Она достала из кармана брюк маленький круглый футляр из тёмного, почти чёрного рога, гладкий от многих прикосновений, и вложила его мне в ладонь. Футляр был тёплый, нагретый её телом, и внутри него что-то чуть слышно стукнуло о стенку.

— Это моя хронолинза, — сказала мать. — Внизу зеркал мало. Там они дорогие, их не держат в каждом доме. Тебе нужно будет знать своё число, а спрашивать о нём ты никого не сможешь.

— Твоя? — Я сжал футляр в пальцах. — Я никогда не видел, чтобы ты её носила.

— Я носила её каждое утро. Шесть лет. — Мать помолчала, и пальцы её нашли край одеяла и стали разглаживать его, медленно, от себя к себе, как разглаживали край скатерти за столом. — С тех пор, как увезли Аню с детьми. Я надевала её утром, перед зеркалом, смотрела на своё число, считала. Потом снимала. Мне надо было видеть, что оно уменьшается. Что я… что я хотя бы в этом не такая, как он.

Я хотел сказать ей, что знаю это, что я видел её число каждый день и видел, как оно уменьшается, по десять мест в час, ровно и честно. Слова уже стояли у меня во рту, и я закрыл рот и сжал футляр так, что его край впился мне в ладонь. Мне не нужна была её линза, чтобы видеть числа других людей, но своё число я видел только в зеркалах, и там, куда я собирался, зеркал, по её словам, было мало.

— Дальше, — сказала мать. — Запоминай. Записывать нельзя.

Она назвала мне шесть цифр, медленно, по одной, и заставила меня повторить их три раза, сначала вслух, потом шёпотом, потом про себя, шевеля губами. Это был код служебного грузового лифта, того самого, у которого теперь сидел человек в сером. Лифт, сказала она, ночью стоит не у нас, а внизу, на нижнем техническом этаже, где его загружают к утру, и с того этажа на панели можно набрать код и вызвать кабину, не поднимая её в дом.

4 0 9 1 7 2

— Этот код не менялся двадцать лет, — сказала мать. — Его ставил ещё прежний хозяин. Виктор про него, наверное, давно забыл. Он никогда не спускался ниже кухни.

— Прежний хозяин? — переспросил я. — Какой хозяин?

— Потом. — Мать покачала головой, быстро, словно отгоняла муху. — Не сейчас, Саша. Потом, когда-нибудь. Слушай дальше.

Третьей она дала мне плоскую пластинку размером с ноготь, тёмную, с крошечным золотистым краем. Это был кредитный чип, такой, какие носят на Средних уровнях, и мать сказала, что на нём записано имя Ян Мирош и что это имя ничего не значит и никому не принадлежит. На чипе были кредиты, немного, на неделю скромной жизни, и чип будет чистым, пока его не начнут искать.

— Где ты его взяла? — спросил я.

— Не спрашивай. — Она сжала мои пальцы вокруг пластинки. — Трать быстро. Еда, ночлег, одежда, если понадобится. Не жалей. Его найдут, Саша, рано или поздно найдут, и тогда лучше, чтобы на нём уже ничего не осталось.

Мы сидели рядом в темноте, и я держал на коленях всё, что она мне дала, футляр, чип и цифры, которые повторял про себя. Мать молчала, глядя на окно, и я видел её профиль, тонкий, усталый, с прядью, выбившейся из узла. Где-то внизу, в саду, ветер шевельнул ветки, и тень от них пробежала по потолку и исчезла.

— Ты видела его, — сказал я. — В зале. Ты видела Марка.

— Видела. — Голос у неё стал совсем тихим. — Я узнала его раньше тебя, Саша. Раньше, чем ты повернул голову. Я увидела его затылок, когда открыли перегородку, и сразу узнала. Я двенадцать лет смотрела на этот затылок в саду, рядом с твоим.

— Ты знала, что он там будет?

— Нет. — Она повернулась ко мне, и в слабом свете я увидел, что глаза у неё сухие. — Клянусь тебе, нет. Шесть лет я думала, что их увезли на Средние. Мне так сказали, и я себе так сказала, и повторяла каждый день, пока не поверила. Аня и дети на Средних уровнях, у них маленькая квартира, Лизу вылечили, Марк учится. Я даже придумала ему школу.

Она замолчала и долго не говорила ничего. Пальцы её снова нашли край одеяла и стали разглаживать его, и я смотрел на эти пальцы, тонкие, с коротко остриженными ногтями, и вспоминал, как они держали мою руку утром перед ритуалом. Где-то в глубине дома часы пробили два, глухо и неторопливо, и после второго удара стало ещё тише.

— Он не тот, кем был, — сказала мать наконец. — Ты это видел. Он тебя не узнал, и Лизу, наверное, не узнает, и себя в зеркале не узнает. Его… его вычерпали, Саша. Не знаю, как ещё сказать. Но он живой, у него есть лицо и есть руки. Найди его.

— Где он?

— Не знаю. Внизу. Ниже Средних. — Она покачала головой. — Виктор говорит, там о нём заботятся. Я восемнадцать лет живу с Виктором и знаю, как он заботится. Он заботится о вещах, которые ему нужны. Пока они ему нужны.

— Пойдём со мной.

Я сказал это и сам поверил, что это возможно, что мы сейчас встанем вдвоём, выйдем через гардеробную, спустимся по служебной лестнице и уедем вниз, и где-то там, внизу, найдём Марка и начнём жить втроём, как в детстве. Мать улыбнулась, впервые за эту ночь, и протянула руку и погладила меня по щеке, как гладила, когда я болел. Ладонь у неё была холодная и чуть дрожала.

— Нет, Сашенька. — Она сказала это так мягко, что я едва расслышал. — Если я уйду с тобой, он будет искать двоих, и найдёт быстрее. Если я останусь, он будет искать одного. А меня спросит первой, и мне есть что ему сказать. Я восемнадцать лет молчала. Хватит.

— Он тебе ничего не сделает?

Мать не ответила, и я понял, что она не знает ответа или знает, но не хочет говорить. Она взяла мою голову обеими ладонями и прижала к своему плечу, и от её свитера пахло лавандой и горьким аптечным запахом, наверное от капель, которые она выливала в раковину. Я сидел так, неудобно, согнувшись, уткнувшись лицом в мягкую шерсть, и мне было семь лет, и я разбил вазу в Большой галерее, и она прятала меня в своей комнате от отцовского спокойного голоса.

— Я говорила тебе тогда, утром, что ты не виноват, — сказала она мне в волосы. — Это правда. Ты ни в чём не виноват, Саша, ни в чём, слышишь? Виновата я. Я знала, что вы похожи. Я видела, как вы похожи, каждый день, двенадцать лет. Я видела и молчала, потому что боялась… — Она остановилась. — Неважно, чего я боялась. Теперь уже неважно.

Я хотел спросить, что значит «похожи», почему это важно и чего она боялась, но она уже отпустила меня и встала. Лицо её снова стало собранным и строгим, таким, каким бывало за столом, когда отец говорил при гостях что-то, с чем она не соглашалась. Она подошла к

окну, взяла с подоконника песочные часы и подержала их в руках, глядя, как в свете фонарей блестит стекло.

— Шесть минут, — сказала она. — Через шесть минут тебя здесь не должно быть.

Она перевернула часы и поставила их обратно на подоконник. Пепельный песок потёк вниз тонкой струйкой, и в тишине комнаты я слышал его шорох, едва различимый, как шорох одежды в соседней комнате. Мне показалось, что это шуршит не песок, а само время, которое она мне отмерила.

Мать объяснила мне дорогу, быстро и точно, словно сама ходила по ней много раз, и я не спросил, откуда она её знает. Служебный проход за гардеробной выводил на узкую лестницу, которая спускалась мимо служебного яруса прямо в технические этажи, минуя кухню, прачечную и общую спальню. Внизу, сказала она, будет два этажа насосов и фильтров, потом длинный коридор под всем домом, а в конце коридора, на нижней площадке, стоит лифт.

— Камеры там есть, — сказала она. — В служебном проходе и на лестнице. Они пишут, но смотрят записи утром. Ночью никто не сидит у экранов, кроме дежурного у ворот, а он смотрит на ворота.

— А Ищейки у ворот?

— Ищейки смотрят наружу. — Мать подтолкнула меня к гардеробной. — Им велели стеречь дом от чужих, а не тебя от дома. Иди.

Я остановился в дверях гардеробной и оглянулся. Мать стояла посреди тёмной комнаты, тонкая, в тёмном свитере, и над её головой горело белое число, долгое, честное, ни на одно место не украденное. Я смотрел на это число и не мог заставить себя отвернуться, потому что вдруг понял, что, может быть, вижу его в последний раз.

— Мама, — сказал я.

— Иди, Тень моя. — Она не подошла ко мне. — Иди, пока песок не кончился.

Я повернулся и шагнул в темноту между вешалками. Мои костюмы задели меня по лицу гладкими рукавами, пахнущими одеколоном и хвоей, и в задней стенке гардеробной, за последней вешалкой, я нащупал приоткрытую узкую дверь. За ней было темно и прохладно, и пахло пылью, крахмалом и холодным металлом.

* * *

Служебный проход оказался таким узким, что я задевал плечами обе стены. Под потолком через каждые десять шагов горели тусклые синие лампочки, дежурные, и в их свете я видел бетонный пол, покрытый резиновой дорожкой, и стопки чистого белья на полках вдоль стены. Я шёл быстро, на цыпочках, хотя ботинки на толстой подошве и так ступали почти беззвучно, и считал шаги, потому что не мог не считать.

На сорок втором шаге проход повернул, и за поворотом начиналась лестница, металлическая, крутая, с узкими перилами. Над первой ступенькой, в углу под потолком, горела красная точка камеры. Я остановился на секунду, глядя на неё, и она смотрела на меня, неподвижная, маленькая, тёплого красного цвета, как огонёк сигареты в темноте.

Я начал спускаться, держась за перила, и, уже миновав первый пролёт, оглянулся снова. Красная точка медленно повернулась мне вслед. Мать сказала, что записи смотрят утром, и я хотел ей верить, но камера поворачивалась так плавно и так точно, словно кто-то по ту сторону вёл её рукой, не отрывая глаз от экрана.

Лестница уходила вниз дольше, чем я думал. Я миновал дверь в служебный ярус, за которой слышался приглушённый гул прачечной, работавшей и ночью, потом ещё одну дверь, без таблички, а потом стены вокруг меня из гладких и крашеных стали бетонными, шершавыми, в потёках и пятнах. Воздух становился теплее с каждым пролётом, гуще и тяжелее, и запах хвои, которым я дышал всю жизнь, сменился запахом горячего машинного масла и металла.

Технические этажи гудели так, что дрожал воздух. Гул шёл отовсюду сразу, из-за стен, из-под ног, сверху, низкий и ровный, и я чувствовал его не ушами, а всем телом, грудью и

зубами, как чувствуют работающий мотор, положив на него ладонь. За решётчатыми дверьми на площадках я видел огромные трубы в серой изоляции, баки, колёса вентилей, мигающие зелёным огоньками панели, и всё это жило своей жизнью, не замечая меня, как не замечало, наверное, никого из тех, кто спал наверху.

Я никогда не думал о том, что под нашим домом есть что-то, кроме камня. Дом стоял на Шпиле, как цветок стоит в вазе, и мне никогда не приходило в голову спросить, откуда берётся вода в фонтане, тепло в полу и свет в лампах. Теперь я спускался мимо всего этого и понимал, что дом, в котором я вырос, держится на этом гуле, как держится на корнях куст в розарии, и что отец, наверное, ни разу в жизни не спускался сюда.

На втором техническом этаже лестница кончилась, и я вышел в длинный коридор, освещённый теми же тусклыми синими лампами. Коридор тянулся под всем домом, прямой, как линейка, и в дальнем его конце я видел площадку, огороженную перилами, и ещё одну лестницу, короткую, в один пролёт, уходившую вниз. Мать сказала, что лифт стоит под этой лестницей, на самой нижней площадке.

Я шёл по коридору, и шаги мои гулко отдавались от бетонных стен, хотя я старался ступать тише. Где-то сбоку что-то зашипело, выпуская пар, и я вздрогнул и прижался к стене, и сердце у меня застучало так громко, что на секунду заглушило гул. Пар рассеялся, и я пошёл дальше, быстрее, почти бегом, и считал шаги, и на двести шестнадцатом шаге добрался до перил.

Сверху, с площадки, я увидел нижний этаж целиком. Это был широкий зал с низким потолком, заставленный штабелями ящиков и тележками, и в дальней его стене чернел проём, через который, наверное, ходили к главной шахте Шпиля. Ближе ко мне, прямо под лестницей, светилась серая металлическая дверь, такая же, как та, что я видел утром в служебном ярусе, только без белой ленты, и рядом с ней горела зелёным панель с кнопками.

Я начал спускаться по последнему пролёту, держась за перила, и на середине пролёта услышал шаги. Они шли из чёрного проёма в дальней стене, быстрые, тяжёлые, многие сразу, и вместе с ними по стене зала метнулись белые пятна фонарей. Я замер на ступеньке, вцепившись в перила, и смотрел, как из проёма один за другим выходят люди в чёрном.

Их было шестеро или семеро. Форма у них была чёрная, с серебряным кантом, тот самый цвет, который я видел три дня назад в Большой галерее на Льве, и фонари у них в руках шарили по ящикам, по тележкам, по стенам. Впереди шёл человек без фонаря, высокий, широкоплечий, светловолосый, и я узнал его раньше, чем увидел лицо, по походке, по манере держать голову чуть набок, как держал её Лев с детства, когда к чему-нибудь прислушивался.

Над его головой горело белое **9 117 654**. Я знал это число, я видел его на приёме и тогда отметил, что за два года после Обновления оно почти не изменилось. Лев остановился посреди зала, поднял голову и посмотрел прямо на меня, на последний пролёт, на ступеньку, на которой я стоял.

— Александр, — сказал он.

Голос у него был спокойный, почти ласковый, совсем не такой, каким он говорил на приёме, хвастаясь новой формой. Фонари Ищеек сразу же нашли меня и ударили в глаза, и я зажмурился и увидел под веками красные пятна. Лев поднял руку, и фонари опустились, и свет их лёг на пол у моих ног.

— Александр, не надо, — сказал Лев. — Слышишь? Спускайся. Просто спускайся ко мне, и мы пойдём домой. Никто ничего не узнает, я обещаю.

— Как ты узнал? — спросил я.

— Неважно. — Он сделал шаг вперёд, и Ищейки у него за спиной разошлись в стороны, медленно, обходя ящики. — Тебе позвонили, да? Кто-то из нижних? Тебе что-то наговорили? Александр, эти люди тебя используют. Ты не понимаешь, что там, внизу. Я понимаю, я неделю этим живу.

— Лев, уйди.

— Не могу. — Он развёл руками, и в этом жесте было что-то почти виноватое. — Я обещал твоему отцу. Я сам вызвался, понимаешь? Я хотел, чтобы это был я, а не кто-то чужой. Чтобы тебя не тронули.

Между мной и дверью лифта было восемь ступенек и ещё шагов пять по бетонному полу. Между Львом и дверью лифта было шагов двадцать, и между ящиками уже двигались чёрные фигуры, обходя зал по краю, и одна из них была гораздо ближе, чем Лев. Я посмотрел на панель с кнопками, зелёную, спокойную, на серую дверь под ней и на шесть цифр, которые стояли у меня в голове, как стоят перед глазами цифры над чужими головами.

Я не стал больше ничего говорить и не стал ждать, пока чёрные фигуры дойдут до лестницы. Я перехватил перила обеими руками и перемахнул через них, туда, где внизу кончался пролёт. Высота была небольшая, в человеческий рост, но мне показалось, что я лечу очень долго.

Я приземлился на бетон, неловко, на обе ноги, и боль ударила в колени, но я уже бежал к двери. Сзади закричали, кто-то сказал «стой», кто-то сказал «живым», и голос Льва перекрыл всех: «Не трогать его!» Я добежал до панели и ударил по кнопкам, и пальцы мои не дрожали, потому что цифры набирал не я, а та часть меня, которая всю жизнь считала.

Я набрал четыре, ноль, девять, один, семь и два, не глядя на пальцы. Панель коротко пискнула, и за серой дверью что-то лязгнуло и загудело, совсем близко, и я понял, что лифт стоял здесь, за стеной, как обещала мать, и что ему не нужно было никуда ехать. Двери начали раздвигаться, медленно, неохотно, с тяжёлым металлическим скрежетом, и в щели показался свет, жёлтый, тусклый, свет кабины.

Я протиснулся внутрь, когда двери разошлись едва на ширину плеч, и ударился спиной о заднюю стенку. Кабина была огромная, грузовая, с исцарапанным металлическим полом и стенами из тусклой стали, и на стене у двери светилась панель с единственной большой кнопкой, на которой было написано «Вниз». Я ударил по ней ладонью и услышал, как двери, не успев раскрыться до конца, остановились и поползли обратно.

Лев был уже у двери. Я увидел его лицо в сужающейся щели, раскрасневшееся, с прилипшей ко лбу светлой прядью, и увидел, как он выбросил вперёд руку и вцепился пальцами в край створки. Двери на секунду замерли, дёрнулись, и Лев навалился на них плечом, и я увидел его глаза совсем близко, в полуметре от своих, серо-голубые, широко открытые.

— Александр! — Он задыхался. — Ты что делаешь? Ты же погибнешь там, слышишь? Ты же ничего не умеешь!

Я ничего не ответил ему, потому что не знал, что ответить. Механизм двери взвыл, и створка медленно, неумолимо двинулась вперёд, сжимая его пальцы, и Лев зашипел от боли и выдернул руку. Щель стала совсем узкой, и в ней я видел уже только полоску его лица, один глаз и край рта.

— Я тебя найду, — сказал Лев. — Слышишь? Я тебя найду и верну домой. Обещаю.

Двери сомкнулись с глухим тяжёлым ударом. По ту сторону стали что-то ударило в створку, раз и другой, кулаком или плечом, и сквозь гул механизма я услышал короткий хруст, такой знакомый, что у меня сжалось горло. Лев хрустел костяшками пальцев всегда, когда злился и не знал, что делать, с девяти лет, и я сотни раз слышал этот звук на уроках и в саду Штайнов, и мне никогда не приходило в голову, что однажды он будет стоять за железной дверью и хрустеть пальцами из-за меня.

Кабина дёрнулась, качнулась на тросах и пошла вниз. Удары в дверь сразу стали глуше, потом отдалились и пропали совсем. Остался только ровный гул механизма где-то над головой.

Сначала я ничего не чувствовал, кроме того, что падаю. Пол ушёл из-под ног, мягко, но ощутимо, и в желудке у меня всё поднялось к горлу, как бывало в детстве на качелях в саду Вольских. Я стоял, прижавшись спиной к холодной стальной стене, и смотрел на закрытые

двери, и ждал, что они сейчас откроются снова и за ними будет Лев, но двери не открывались, а кабина шла вниз, всё быстрее, с ровным гудением, от которого дрожали стены.

Над дверью светилось узкое табло, и на нём менялись цифры. Это были не номера, а уровни, и они уменьшались медленно, по одному, так же ровно, как уменьшается число над головой человека, и я смотрел на них и не мог отвести глаз. Каждая новая цифра появлялась с тихим щелчком, похожим на щелчок числа над головой человека.

212
211
210

Я не знал, что в Шпиле так много уровней. Я вообще почти ничего не знал о Шпиле, кроме того, что наверху сад, дом и Купол, а внизу, где-то очень далеко, Средние уровни, о которых рассказывали Сводки и прислуга. Цифры на табло менялись и менялись, и я перестал их считать, потому что впервые в жизни мне не хотелось считать.

В двери кабины, на уровне моего лица, было узкое окошко, забранное частой решёткой и толстым мутным стеклом. Я подошёл к нему и прижался лбом к холодной решётке. Сначала за стеклом не было ничего, кроме чёрной стены шахты, проносившейся мимо, но потом стена кончилась, и кабина пошла по внешнему краю Шпиля, и за окошком открылось небо.

Небо было серое и мягкое, без единого просвета, и я не сразу понял, что смотрю не на небо, а на облака. Они лежали вокруг Шпиля плотной пеленой, клубились, расступались и снова смыкались, и кабина входила в них медленно, как ложка входит в густое молоко. Наверху, над облаками, остался Купол, светлый даже ночью, и сад, и дом, и белый куст с тремя бутонами, а внизу, под облаками, было что-то, чего я никогда не видел.

Облака сомкнулись вокруг кабины, и на секунду за окошком стало совсем серо, как в тумане. Потом пелена разошлась, словно её разрезали, и я увидел внизу огни. Их было столько, что я не мог их сосчитать: жёлтые, синие, розовые, зелёные, мигающие и ровные, они горели в густой бурой дымке до самого горизонта, и между ними тянулись светящиеся нити, похожие на реки. Это были дороги, понял я, магистрали, по которым ехали машины, и над всем этим висело тусклое оранжевое зарево, тяжёлое и низкое, без звёзд.

Я стоял, прижавшись лбом к решётке, и смотрел вниз, и кабина несла меня туда, в эти огни, в бурую дымку, ниже облаков. В кармане куртки лежали футляр с хронолинзой матери, чип на имя человека, которого не существовало, и записка Марка, сложенная вдвое неизвестно кем. В голове у меня стояли шесть цифр, которые больше никогда не понадобятся, и лицо Льва в узкой щели между дверями, и белое число над матерью, честное и долгое.

Я подумал о песочных часах на подоконнике моей комнаты. Песок в них, наверное, уже кончился, и Ласло ещё не открыл дверь, и на подушке лежал серый шёлковый платок, сложенный вдвое. Где-то на Острове за эти шесть минут кто-то дошёл, просто сел и больше не встал, и через шесть минут дойдёт следующий, а я ехал вниз, первый раз в жизни ниже облаков, и не знал даже, как называется место, куда меня привезёт эта кабина.

В тусклой стальной стене лифта отражалось моё лицо, смутное, без черт, только светлое пятно над серым воротником. Над ним дрожало мерцание, бледное и неразборчивое, потому что в мутном металле чип плохо узнавал меня. Я не стал доставать хронолинзу и не стал вглядываться, потому что знал своё число и без зеркала и знал, сколько в нём чужого.

Глава 7

Лифт шёл вниз так долго, что я успел привыкнуть к его гулу и к тому, как подрагивает под ногами исцарапанный стальной пол. Облака давно остались наверху, огни за окошком снова сменились чёрной стеной шахты, и цифры на табло перевалили сначала за сотню, а потом и за полсотни. Мне казалось, что кабина везёт меня не вниз, а внутрь, в самую сердцевину чего-то огромного и тёплого, и чем глубже мы опускались, тем гуще и теплее становился воздух.

На уровне «девять» браслет на моём левом запястье коротко завибрировал. Я вздрогнул так, словно меня ударило током, поднял руку к лицу и увидел, как на тёмной вставке зажглись мелкие белые буквы, те самые, которыми браслет всю жизнь показывал мне записки Ники и напоминания о визитах к Гану. Сообщение было от отца, без подписи, потому что отец никогда не подписывался, и в нём было написано: «Александр, возвращайся, тебе ничего не будет, Лев ждёт у шахты».

Я перечитал эти слова несколько раз, пока буквы не погасли. Отец писал так же, как говорил, ровно и коротко, ни о чём не спрашивая, и мне почудился за этими словами запах его утреннего кофе и тихий стук чашки о блюдце. Он не спал, он знал, где я, и знал, что я его прочитаю, и в этом спокойном «ничего не будет» было больше власти, чем в любом крике.

Я взялся пальцами правой руки за застёжку браслета. Она поддалась не сразу, потому что я восемь лет не снимал его даже на ночь, и на коже под ним осталась светлая полоска, гладкая и чуть влажная, как след от часов. Я положил браслет на пол, в угол кабины, у самой стенки, и подумал, что лифт рано или поздно поедет обратно, наверх, и отвезёт его домой, туда, где ему и место.

Кабина замедлила ход, качнулась и встала. Табло над дверью показало «1», мигнуло и погасло, а двери со скрежетом поползли в стороны, и в щель ворвался шум, такой плотный, что я невольно отступил назад. Это был шум работы: лязг, гудение моторов, писк сигналов, голоса, перекрикивающие друг друга, и над всем этим ровный рёв, который шёл, казалось, из самой земли.

Передо мной открылся грузовой двор, огромный, как Большая галерея, только вместо белого камня здесь был тёмный бетон в масляных пятнах, а вместо люстр под высоким потолком висели ряды жёлтых ламп в решётчатых колпаках. Между штабелями ящиков ездили низкие грузовые тележки с мигающими огоньками, и люди в серых куртках, точно таких же, как моя, снимали с тележек коробки и уносили их к другим лифтам. Пахло горячим пластиком, машинным маслом и чем-то кислым, похожим на запах пота.

Я вышел из кабины, и двери за мной закрылись. Никто не повернул головы, никто меня не окликнул, и я стоял у серой двери, как стоят в чужом доме, не зная, куда девать руки. Мимо прошёл человек с коробкой на плече, задел меня локтем и пошёл дальше, не извинившись и не оглянувшись, и я понял, что для него я просто ещё одна серая куртка, вставшая не на том месте.

Над ним висело белое число, лет на двадцать, а над женщиной, которая катила следом тележку с мешками, жёлтое, неполное, месяцев на семь. Я отвёл глаза и тут же увидел ещё одно жёлтое число, над стариком, который сидел на ящике у стены и пил что-то из термоса, и ещё одно, над высоким парнем у пульта. В нашем доме из двадцати двух человек прислуги жёлтое было только у Тони, а здесь, в одном углу двора, я насчитал четыре, прежде чем заставил себя перестать считать.

— Эй, ты! — крикнул кто-то сбоку. — С какой смены?

Я обернулся на голос, не сразу поняв, что кричат мне. Ко мне шёл невысокий плотный человек в оранжевом жилете поверх серой куртки, с планшетом в руке. Смотрел он не на меня, а куда-то мне за плечо, на дверь лифта, из которого я вышел.

— Из прачечной, — сказал я. — Сверху. Меня послали…

— Сверху! — Человек в жилете фыркнул, не дослушав. — Все вы сверху. Бельё на третьем подъёмнике, тележку там же возьмёшь. Давай, давай, не стой, у меня погрузка в пять.

Он махнул рукой куда-то в сторону и пошёл дальше, к тележкам, на ходу тыча пальцем в планшет. Я постоял ещё секунду и двинулся туда, куда он махнул, а потом свернул между штабелями к широким воротам в дальней стене, через которые въезжали тележки и выходили люди. У ворот под потолком горела красная точка камеры, и я опустил голову и прошёл под ней вместе с тремя рабочими, которые закончили смену и шли наружу, переговариваясь о чём-то своём.

* * *

Снаружи была ночь, но не та ночь, которую я знал. Наверху, в Шпилях, ночью Купол темнел мягко и ровно, сад погружался в синеву, и только у фонтана горели два дежурных фонаря. Здесь ночь была рыжей, мутной и шумной, и света в ней было больше, чем днём в нашем саду, только этот свет был чужой, цветной, дрожащий, и шёл он не сверху, а отовсюду сразу.

Я стоял на широкой площадке у подножия Шпиля и смотрел вверх. Шпиль уходил в небо серой отвесной стеной, такой огромной, что у меня закружилась голова, и через несколько десятков этажей его срезала бурая пелена, за которой не было видно ничего. Неба не было тоже: над головой, на разной высоте, тянулись магистрали, широкие, светящиеся снизу, одна над другой, и по ним с непрерывным гулом неслись машины, и от этого гула мелко дрожал асфальт у меня под ногами.

Между магистралями, на разной высоте, висели вывески. Они горели розовым, синим, ядовито-зелёным, мигали, бежали буквами, и я читал их одну за другой, как читал в детстве надписи на банках в кладовой: «Лапша со Склада, горячая», «Ремонт чипов связи», «Хроно-линзы в рассрочку, знай своё число». Под вывесками, вдоль улицы, стояли дома, серые, бесконечно высокие, с тысячами одинаковых окон, и почти в каждом окне горел свет, хотя было, наверное, около трёх часов ночи.

Воздух был тёплый, густой и пах горячим пластиком, жареным маслом и чем-то едким, от чего першило в горле. Я вдохнул его глубоко, полной грудью, как вдыхал по утрам озон и хвою, и закашлялся, и кашлял долго, согнувшись, держась рукой за холодную опору фонаря. Мимо шли люди, и никто не остановился, не спросил, что со мной, и никто, как я заметил потом, вообще не посмотрел в мою сторону.

Я отдышался и пошёл куда глаза глядят, прочь от Шпиля, по улице, которая тянулась под магистралью, как туннель. Мне хотелось уйти как можно дальше от грузового двора и от лифта, в котором лежал на полу мой браслет, и я шёл быстро, не разбирая дороги, сворачивая то направо, то налево. Через полчаса я уже не мог бы сказать, в какой стороне остался Шпиль, потому что его основание скрылось за домами, а верхушку съела бурая пелена.

* * *

Я ждал шести часов утра, сам того не замечая. Ждал по привычке, не думая, так же, как всю жизнь ждал утром, что Купол посветлеет, и сад станет золотым, и в окно ударит первый солнечный луч. Я сидел на ступеньках какого-то запертого магазина, под вывеской, на которой не горели две буквы, и смотрел вверх, в узкую щель между магистралями, туда, где должно было быть небо.

Ровно в шесть ничего не случилось. Бурая пелена над магистралями чуть посерела, рыжий отсвет в ней стал бледнее, грязнее, словно кто-то разбавил его водой, но солнца не было, и не было золотого света, и вывески продолжали гореть так же ярко, как ночью. Я сидел и ждал ещё, минут десять, может быть больше, и только потом понял, что это и есть утро, что сюда, под облака, под магистрали, под смог, солнце не доходит никогда.

Я вспомнил, как Тоня однажды, давно, сказала, что на Земле всегда сумерки, и я тогда решил, что это просто красивое слово. Тоня выросла здесь, где-то внизу, в одном из этих домов

с тысячами окон, и каждое утро своей жизни до шестнадцати лет просыпалась в этом сером свете. Мне стало стыдно, что я никогда её не спросил, какое оно, это утро, хотя спрашивать было так легко.

Улица вокруг меня понемногу оживала и наполнялась шумом. Из подъездов выходили люди, сначала по одному, потом группами, потом сплошным потоком, и этот поток тёк мимо меня к широкой лестнице, ведущей наверх, на одну из магистралей. Все они были одеты похоже, в серое, тёмно-синее, коричневое, все шли быстро, глядя перед собой, и над каждым из них висело число.

Я достал из внутреннего кармана футляр матери. Он был уже не тёплый, а холодный, и тёмный рог в рыжем свете вывески казался почти чёрным, гладким, как камешек со дна ручья. Я открыл крышку, и внутри, на маленькой подушечке из серого бархата, лежала линза, прозрачная, тонкая, размером с ноготь мизинца, с едва заметным серебристым ободком по краю.

Я никогда в жизни не держал хронолинзу. В Шпилях их не носили, потому что в каждой комнате было зеркало, и в нашем доме их было, наверное, больше, чем окон. Я видел их только в витринах, когда мы с отцом однажды проезжали по Медицинскому уровню, и тогда отец сказал, что это вещь для тех, у кого нет зеркал, и сказал так, как говорят о костылях.

Я положил линзу на кончик пальца, оттянул нижнее веко и, не дыша, приложил её к глазу. Сначала было холодно, потом резануло, словно в глаз попала песчинка, и я заморгал, и слёзы потекли по щеке, тёплые, солёные. Потом резь прошла, и по краю зрения пробежала тонкая серебристая искра, обежала его кругом и погасла.

Над серой улицей, над потоком людей, над их числами, в самом верху моего зрения, проступили цифры. Они были белые, чуть прозрачные, и висели неподвижно, сколько бы я ни поворачивал голову, словно были нарисованы на внутренней стороне моего собственного глаза. Это было моё число, и я впервые в жизни видел его не в зеркале, не над своим отражением, а просто так, над миром, как видел всю жизнь числа других людей.

9 185 123

Я сидел на ступеньках и смотрел на него. Мать носила эту линзу шесть лет, каждое утро, и каждое утро видела вот так же, в верхнем краю зрения, своё число, честное, долгое, ни на одно место не украденное. Теперь там висело моё, и в нём было пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять мест, которые ещё четыре дня назад принадлежали Марку.

Я сидел, не шевелясь, и ждал. Минут через шесть, может быть чуть позже, последняя цифра провернулась на единицу с тихим, слышным только мне щелчком, и тройка стала двойкой. Этот щелчок я знал с детства, потому что много раз стоял перед зеркалом и ждал его, как ждут боя часов, но в зеркале он всегда оставался там, за стеклом, над моим отражением, и стоило мне отойти, как он замолкал. Теперь зеркала не было, и щелчок прозвучал так близко, словно кто-то щёлкнул пальцами у самого моего уха, и я понял, что отныне он будет идти за мной повсюду, куда бы я ни пошёл.

Я встал и пошёл вместе с потоком, потому что стоять на месте было страшнее. Лестница вывела меня на магистраль, точнее, на пешеходную галерею, которая тянулась вдоль неё, отгороженная от машин сеткой, и по этой галерее шли тысячи людей. Я шёл среди них, плечом к плечу, и смотрел, и не мог заставить себя смотреть на что-нибудь другое.

Над толпой колыхалось море чисел. Они плыли над головами, белые и жёлтые, длинные и короткие, качались в такт шагам, сталкивались, расходились, и их было столько, что они сливались в одну мерцающую реку, текущую вперёд, к перекрёстку. Наверху, в Шпилях, я видел самое большее сотню чисел за вечер, на приёме, и все они были белые, огромные, спокойные, а здесь они шли мне навстречу тысячами, и я не успевал их читать.

Я всё-таки не удержался и начал считать. Я выбрал группу людей впереди, у светофора, где поток останавливался, и пересчитал их, сорок три человека, и среди них девять жёлтых

чисел. Это было больше, чем каждый пятый, и среди этих девяти было одно такое короткое, что я пересчитал его дважды: над худой девочкой лет десяти, которая держала за руку мать, висело жёлтое двузначное число тысяч, четыре месяца, может быть пять.

Мать девочки смотрела на светофор. Над ней самой стояло белое число, долгое, на тридцать лет, и я подумал, что она, наверное, знает число дочери, потому что водит её к зеркалу, и знает, что их разделяют почти тридцать лет, которые никак нельзя отдать без налога. Светофор переключился, поток двинулся, и девочка с матерью ушли вперёд, и жёлтое число над детской головой ещё долго мелькало в толпе, пока не потерялось.

Я заметил одну странность, не сразу, а минут через двадцать, когда немного привык к толпе. Здесь никто ни на кого не смотрел. Люди шли, стояли у светофоров, ждали трамваев, толкались на лестницах, и ни один человек не встретился глазами с другим, все смотрели куда-то поверх голов: на вывески, на экраны, на провода, на бурую пелену над магистралями.

В Шпилях всю жизнь я смотрел людям в переносицу, чтобы не смотреть выше, туда, где горит число, и мне всегда казалось, что взгляд выдаёт меня. Здесь же весь город смотрел выше головы, и мой взгляд ничем не отличался от тысяч других взглядов. Впервые в жизни моя привычка оказалась не тайной, а обычаем, и от этого мне стало одновременно легче и почему-то тоскливо.

* * *

Голод пришёл раньше, чем я ожидал, и пришёл так, как приходил все эти дни после ритуала, сразу, целиком, будто кто-то внутри меня открыл пустой шкаф и закричал. Я не ел с ужина, с того густого супа, который принесла Тоня, и тело, отдохнувшее и сильное, требовало своего. Мне казалось, что голодны не я, а семь чужих лет, которые сидели во мне и тоже хотели есть.

У спуска с галереи стоял киоск, круглый, обшитый жёлтым пластиком, и над его окошком горела вывеска «Лапша со Склада, горячая». Пахло от киоска так, что у меня свело скулы: жареным луком, солью, чем-то сладким и острым одновременно. Я встал в короткую очередь из трёх человек и, пока ждал, сжимал в кармане тонкую пластинку чипа так крепко, что её край врезался в ладонь.

— Чего тебе? — спросила женщина в окошке.

Над ней стояло белое число, лет на пятнадцать, и она смотрела не на меня, а куда-то мне за ухо, как смотрели здесь все. Руки у неё были красные, распаренные, с короткими ногтями, и на запястье, под закатанным рукавом, я заметил старый ожог, похожий на карту какой-то страны. Окошко было низкое, и ей приходилось наклоняться к нему, отчего прядь волос всё время падала ей на лоб.

— Лапшу, — сказал я. — Большую. И… что у вас ещё есть?

— Пирожки с соей, чай, — сказала она. — Сладкий чай, несладкий. Брикеты.

— Всё, — сказал я. — То есть лапшу, два пирожка и сладкий чай. Пожалуйста.

Женщина подняла глаза, на мгновение, и тут же опустила их снова, и я понял, что сказал что-то не то, но не понял что. Может быть, здесь не говорили «пожалуйста», а может быть, это «пожалуйста» прозвучало слишком гладко, по-верхнему, тем голосом, каким говорят с прислугой. Она пододвинула ко мне маленький терминал, и я приложил к нему чип, и терминал коротко пискнул и показал зелёную галочку и надпись «Оплачено: Мирош Я».

Я ел, стоя у перил галереи, и обжигался, и не мог остановиться. Лапша была мягкая, разваренная, в мутном солёном бульоне, с кусочками чего-то, похожего на мясо, но не мясом, и в доме Ракитиных такую еду не дали бы даже садовым машинам. Я съел её всю, до последней капли, потом съел оба пирожка, потом выпил чай, приторный, тёплый, пахнущий жжёным сахаром, и мне показалось, что ничего вкуснее я в жизни не ел.

Над перилами, на опоре магистрали, висел большой экран. На нём шла утренняя Сводка с Периметра, та же, что каждое утро шла у нас в малой столовой, и тот же ровный женский

голос сообщал, что на западном секторе Пустоши отмечена радиоактивная буря средней силы и что гражданам рекомендуется не приближаться к внешним смотровым площадкам. На экране клубилась рыжая мгла над чёрным морем, и я смотрел на неё и думал, что дома, наверное, отец сейчас тоже смотрит Сводку, пьёт кофе и ставит чашку точно в середину блюдца.

Под экраном никто не останавливался. Люди проходили мимо, не поднимая голов, и бурю за Куполом смотрел, кажется, я один, и мне вдруг стало смешно и неловко, потому что дома я всегда смотрел Сводку до конца. Я отвернулся от экрана, вытер рот рукавом, как вытирал, наверное, каждый в этом городе, и пошёл дальше.

* * *

Весь тот день я ходил по городу. Я не знал, куда иду, и не знал, у кого спросить, потому что любой вопрос о том, как спуститься ниже, выдал бы меня сразу, как выдало «пожалуйста» у киоска. Я только запоминал: названия улиц на синих табличках, номера трамваев, лестницы, уходящие вниз, под магистрали, и людей в чёрной форме с серебряным кантом, которых видел дважды издалека и от которых оба раза уходил в ближайший переулок.

Город нигде не кончался, сколько бы я ни шёл. Улицы переходили в галереи, галереи в мосты, мосты в лестницы, и везде были люди, вывески, экраны и тот ровный гул, который я перестал замечать к полудню, как перестают замечать шум собственной крови в ушах. На перекрёстках висели камеры, на каждом столбе, с маленькими красными точками, и я каждый раз опускал голову, проходя под ними, хотя понимал, что их здесь тысячи и что от всех не спрячешься.

Около полудня, если здесь вообще бывает полдень, я сидел на скамейке у трамвайной остановки и отдыхал. Ноги в тяжёлых ботинках гудели, натёртая пятка горела, и я вытянул ноги перед собой и смотрел на людей, ждавших трамвая. Их было человек двенадцать, и над одним из них, пожилым мужчиной в синей рабочей куртке, висело число, которое я узнал раньше, чем прочитал.

Оно было не белое и не жёлтое, а чёрное. Оно пульсировало, медленно, ровно, как пульсирует жилка на виске, и в нём было всего две цифры, двойка и единица. Я смотрел на него и чувствовал, как во рту становится сухо, потому что знал, что значит двадцать один, знал так же хорошо, как знал это утром в саду, когда Ефим подрезал свои розы.

Мужчина стоял у края остановки с металлическим судком в руке, в каких носят обед на работу, и смотрел вверх, на табло с номерами трамваев. Время от времени он поднимал свободную руку и потирал висок, двумя пальцами, медленно, словно у него там что-то гудело и не давало сосредоточиться. Лицо у него было усталое, обычное, с седой щетиной, и на нём не было ни страха, ни удивления.

Трамвай пришёл и ушёл, люди сели в него и уехали, а мужчина не сел. Он постоял ещё немного, потом подошёл к скамейке, на которой сидел я, и сел на другой её край, поставив судок рядом с собой. От него пахло машинным маслом и дешёвым табаком, и я сидел, не шевелясь, и смотрел перед собой, на рельсы, и видел краем глаза, как над его головой пульсирует чёрное.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь. Мне хотелось спросить, знает ли он, видел ли он сегодня утром своё число в зеркале, есть ли у него кто-нибудь, кому нужно сказать последнее слово, кого нужно обнять. Я ничего не сказал, потому что не мог сказать ничего, что не выдало бы меня, и потому что не знал, что можно сказать человеку, которому осталось два часа.

Время шло, трамваи приходили и уходили, люди на остановке сменялись, а мы всё сидели вдвоём на одной скамейке. Я слышал, как над его головой щёлкают цифры, сухо, ровно, каждые шесть минут, и считал эти щелчки, потому что не мог не считать. Мужчина достал из кармана сигарету, покрутил её в пальцах и не закурил, и снова потёр висок.

2

1

Мужчина вздохнул, глубоко, как вздыхают после долгой работы, и откинулся на спинку скамейки. Голова его чуть склонилась к плечу, глаза остались открытыми, и сигарета выпала из пальцев и покатилась по асфальту к рельсам. Над ним больше ничего не было, только серая пелена и вывеска «Ремонт чипов связи», мигавшая розовым.

Я сидел рядом и не мог встать. Люди на остановке посмотрели на него, кто-то коротко, кто-то чуть дольше, и отвернулись, и одна женщина отодвинулась на шаг, словно боялась, что он упадёт на неё. Кто-то негромко сказал «дошёл», и это слово прозвучало так же буднично, как «трамвай» или «дождь».

Минут через десять к остановке подъехал серый фургон без окон, и из него вышли двое в оранжевых жилетах, с носилками. Они работали быстро и ловко, как работает прислуга, убирающая со стола, и один из них, переложив тело на носилки, наклонился и поднял с асфальта металлический судок. Второй сказал, ни к кому не обращаясь, тем же ровным голосом, каким говорила Сводка: «Долг исполнен», и они понесли носилки к фургону.

Я поднялся со скамейки, только когда фургон уехал. Ноги у меня были ватные, и я сделал несколько шагов и остановился посреди тротуара, и поток людей сразу же наткнулся на меня, как вода натыкается на камень. Немолодая женщина в коричневом пальто дёрнула меня за рукав, не глядя мне в лицо.

— Не стой, парень, — сказала она. — Не задерживай. Всех задержишь.

Она пошла дальше, и я пошёл тоже, в ту же сторону, куда шли все. Я думал о Ефиме, которого унесли из сада молча, на руках, и о том, как через шесть минут сад снова работал, и понимал, что здесь всё было так же, только быстрее и проще. Наверху смерть хотя бы прятали, а здесь её не прятали, потому что прятать было некогда, и где-то на Острове уже дошёл следующий, и следующий за ним ждал своего трамвая.

* * *

К вечеру я решил найти ночлег. Я видел вывески с надписью «Койки», «Сон на час, на ночь, на неделю», и выбрал ту, что висела над узкой дверью в боковом переулке, подальше от больших улиц, потому что там было тише и меньше камер. За дверью оказалась крутая лестница, а наверху, в тесной комнате с жёлтыми стенами, за стойкой сидел худой парень с бритыми висками и что-то смотрел на маленьком экране.

— На ночь, — сказал я. — Одну койку.

— Сорок кредитов. — Парень не поднял головы. — Соты на третьем этаже, в шестой ряд. Душ отдельно, десять.

— Соты?

— Соты, ячейки. — Он мотнул головой в сторону двери за стойкой. — Не нравится, иди в «Ночлежку» на Седьмой, там общая, на полу. Будешь брать или нет?

Я заглянул в дверь за его спиной. Там, в полутёмном коридоре, вдоль обеих стен, в три яруса, тянулись низкие пластиковые ячейки, каждая длиной в человеческий рост, с круглым люком вместо двери, и в некоторых из них горел тусклый свет. Я смотрел на эти ячейки и видел белые капсулы-яйца на постаментах, и матовую перегородку, и зеркальную крышку над собственным лицом, и мне пришлось взяться рукой за край стойки, чтобы не пошатнуться.

— Беру, — сказал я.

Парень пододвинул ко мне терминал. Я приложил чип, и терминал помолчал на секунду дольше, чем у киоска, и пискнул не коротко, а длинно, противно, и на его экране вместо зелёной галочки загорелась красная полоса. Я наклонился и прочитал, что носитель заблокирован, и ниже, мелкими буквами, что держателю рекомендуется оставаться на месте до прибытия сотрудника.

Парень за стойкой наконец поднял голову. Он посмотрел на экран терминала, потом на меня, впервые за весь разговор прямо, и в его взгляде не было ни злости, ни удивления, только

быстрый расчёт, тот же, каким женщина у киоска оценивала, сколько налить бульона. Его правая рука медленно, почти лениво скользнула под стойку.

Я не стал ждать, что он там нащупает. Я сгрёб чип с терминала и бросился вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки, чуть не упал на последнем пролёте, ударился плечом о дверной косяк и вылетел в переулок. Сзади никто не кричал и никто не бежал за мной, но я бежал ещё долго, сворачивая и сворачивая, пока не выбежал на широкую улицу, полную людей, и не смешался с ними.

Я шёл в толпе, тяжело дыша, и думал о красной полосе на экране. Утром чип был чистым, а теперь, через десять часов, его уже искали, и искали так, что любой парень за любой стойкой мог получить за меня что-то, раз его рука потянулась под стойку. Отец нашёл его, и нашёл быстро, гораздо быстрее, чем надеялась мать, когда говорила «рано или поздно».

Я не знал, как он его нашёл. Может быть, камера над киоском узнала моё лицо, может быть, отец следил за всеми чипами, которые появились в эту ночь у подножия нашего Шпиля, а может быть, кто-то нашёл, откуда этот чип взялся. Мне вдруг представилась мать, сидящая в малой столовой, на своём пустом месте справа от отца, и отец, который спокойно, по-отечески, спрашивает её, где она взяла пластинку с именем Ян Мирош, и ставит чашку точно в середину блюдца.

Чип лежал у меня на ладони, тёмный, с золотистым краем, совершенно бесполезный. Мать сказала тратить быстро и не жалеть, и я потратил на лапшу, два пирожка и сладкий чай, а остальное так и осталось там, на имени человека, которого не существовало. Я дошёл до решётки водостока у края тротуара, присел, будто завязывая шнурок, и просунул чип между прутьями, и услышал, как он тихо стукнул где-то внизу о мокрый металл.

Голод вернулся к вечеру, такой же сильный, как утром, и теперь мне нечем было его утолить. Я проходил мимо киосков, и запах жареного лука и сои бил мне в лицо, и в животе сводило так, что я сгибался и делал вид, что разглядываю витрины. Семь чужих лет требовали еды, и мне некому было объяснить им, что еды больше не будет.

У одной из витрин я остановился по-настоящему. Над дверью висела вывеска «Скупка, обмен, кредиты сразу», а за стеклом, на тёмном бархате, лежали часы, серьги, старые браслеты связи и несколько колец. Я посмотрел на свою правую руку, на безымянный палец, где сидело тонкое кольцо из белого золота с маленьким тёмным камнем, и только теперь вспомнил, что оно у меня есть.

Кольцо надела мне мать в день моего шестнадцатилетия, и я так привык к нему, что не замечал его, как не замечал браслета. На внутренней стороне ободка был выгравирован знак дома Ракитиных, крошечный, едва различимый, и такие знаки, наверное, были известны любому скупщику в этом городе. Я постоял перед витриной, глядя на чужие кольца на бархате, повернул своё камнем внутрь, к ладони, и пошёл дальше.

* * *

Ночь застала меня у подземного перехода под одной из магистралей. Я видел, как туда спускаются люди с тюками и картонными коробками, не так, как спускаются, чтобы пройти на другую сторону, а медленно, устало, как возвращаются домой. Я пошёл за ними, потому что больше идти было некуда, и потому что ноги уже не держали меня.

Переход был длинный, низкий, с кафельными стенами, когда-то белыми, а теперь серыми и жёлтыми от грязи и сырости. Под потолком через одну горели длинные лампы, мигая и потрескивая, и в их неровном свете вдоль стен лежали и сидели люди, на картоне, на тряпках, на старых куртках, человек двадцать или тридцать. Пахло мочой, сырым бетоном и тем же горячим пластиком, которым пахло всё в этом городе, а сверху, сквозь толщу бетона, доносился ровный гул магистрали.

Я нашёл свободное место у стены, подальше от входа, и сел на холодный кафельный пол, прижав колени к груди. Над людьми вокруг меня висели числа, и почти все они были жёлтые,

разные, длинные и короткие, и только над одной старухой у противоположной стены медленно, ровно пульсировало чёрное. Я отвернулся от неё и закрыл глаза, но числа не исчезли, потому что одно из них висело в верхнем краю моего зрения, белое, огромное, и щёлкало каждые шесть минут.

— Ботинки сними, — сказал кто-то рядом.

Я открыл глаза и повернул голову. Рядом со мной, на расстеленной куртке, сидел мужчина лет пятидесяти, худой, с длинным лицом и коротко стриженной седой головой. Левая рука у него лежала на колене странно, неподвижно, пальцы на ней были скрючены и не разгибались, и он поддерживал её правой, как поддерживают спящую кошку.

— Что? — спросил я.

— Ботинки сними, говорю. — Он кивнул на мои ноги. — Сними и под голову положи. Иначе утром проснёшься босой. Хорошие ботинки, рабочие. Такие тут долго не лежат.

Я посмотрел на него, потом на свои ботинки, потом снова на него. Над ним висело жёлтое число, около двадцати восьми тысяч, четыре месяца с небольшим, и я заставил себя опустить глаза, хотя здесь, кажется, никто не обратил бы на мой взгляд внимания. Я развязал шнурки, стянул ботинки с горящих ног и поставил их у стены, у себя за спиной, так, чтобы лечь на них.

— Спасибо, — сказал я.

— Томаш, — сказал мужчина вместо ответа. — А тебя как?

Я открыл рот, чтобы ответить, и не ответил. Александр было именем Шпилей, длинным, «довоенным», и здесь, в переходе, оно прозвучало бы так же громко, как то «пожалуйста» у киоска. Ян Мирош лежал на дне водостока, а Сашей меня звали только мать и Марк.

— Ян, — сказал я наконец.

— Ну, Ян так Ян. — Томаш усмехнулся углом рта, и я понял, что он не поверил. — Мне всё равно. Тут всем всё равно, парень, это первое, что надо понять. Ты сверху?

— Почему сверху?

— Руки. — Он кивнул на мои ладони, лежавшие на коленях. — Руки у тебя как у девочки. Ногти чистые, мозолей нет. Куртка рабочая, а руки не рабочие. И говоришь ты, как по экрану читаешь.

Я спрятал руки в карманы. Томаш смотрел не на меня, а куда-то поверх моей головы, на мигающую лампу под потолком, и говорил спокойно, без любопытства, как говорят о погоде. Мне захотелось встать и уйти, найти другой переход, другую стену, но ноги гудели так, что я понимал: встать я уже не смогу до утра.

— Не бойся, — сказал Томаш. — Не скажу никому. Да и кому говорить. Ты не первый сверху тут сидишь. Бывает, проиграется кто, или из дома выгонят, или ещё что. Неделю посидит, потом либо домой ползёт, либо вниз уходит. Ты куда собрался, домой или вниз?

— Вниз, — сказал я.

— Вниз. — Томаш помолчал и покачал головой, медленно, словно взвешивал это слово. — Ну, дело твоё. Только чип у тебя есть, Ян? Вниз через узлы, а на узлах рамки, чип читают. Без чипа не пустят, с чужим чипом заберут. Сам думай.

Я ничего не ответил ему на это. Чип в основании моего черепа нельзя было ни выбросить в водосток, ни просунуть сквозь решётку, и он знал обо мне всё, и имя, и номер, и, может быть, рассказывал обо мне кому-то наверху так же исправно, как рассказывал браслет. Мне вдруг показалось, что это число в верхнем краю моего зрения смотрит на меня, как смотрела красная точка камеры на лестнице, и поворачивается мне вслед.

Томаш достал из кармана куртки что-то, завёрнутое в серую бумагу, развернул одной рукой, помогая себе зубами, и я увидел брикет, плоский, коричневый, похожий на кусок глины. Он разломил его пополам, прижав к колену, и протянул мне половину. Я смотрел на эту половину и не брал её, потому что видел число над его головой и знал, что ему осталось четыре месяца.

— Бери, — сказал Томаш. — Ты весь вечер на лапшу смотрел, как собака. Я видел, я тоже у того киоска стоял. Бери, говорю, мне хватит.

— У вас… — Я запнулся. — Вам самому…

— Мне самому хватит, — повторил он. — Мне до весны всего хватит. Видел в бане, в зеркале, на прошлой неделе. Четыре месяца с хвостиком. Жёлтенькое, как цыплёнок. — Он сказал это спокойно, даже весело, и сунул брикет мне в руку. — Ешь давай. На пустой живот тут не спят.

Брикет был сухой, пресный и липнул к зубам, и я жевал его долго, медленно, стараясь растянуть. Томаш съел свою половину в три укуса и аккуратно сложил серую бумагу, разгладив её на колене, и спрятал в карман. Где-то в начале перехода закашлялся человек, долго, надсадно, потом затих, и снова стало слышно, как гудит над нами магистраль.

— Слушай, Ян, — сказал Томаш, не глядя на меня. — Раз уж ты тут. Я тебе скажу, что знаю, а ты запоминай. Первое: в глаза никому не смотри. Тут в глаза смотрят только Ищейки и те, кто драки ищет. Хочешь, чтобы тебя не трогали, смотри поверх головы. На вывеску, на лампу, на что угодно.

— Почему поверх?

— Потому что над головой у человека его дело, а не твоё. — Томаш усмехнулся. — Так старики говорили, когда я маленький был. Все знают, что там что-то висит, только никто не видит. Вот и смотрим туда, как в окно. Вежливо это, понял? Не лезешь человеку в лицо.

Я кивнул, и что-то внутри меня тихо и больно сжалось. Весь этот город смотрел туда, куда я смотрел всю жизнь, и ни один человек в нём не видел того, что видел я. Они смотрели в пустоту над чужими головами из вежливости, а я смотрел туда, потому что не мог не смотреть, и над Томашем, совсем рядом, в полуметре от моих глаз, висело жёлтое число, которое он сам называл цыплёнком.

— Второе, — продолжал Томаш. — На скамейках не спи, только в переходах и под лестницами. На скамейках патруль поднимает и чип проверяет. Третье: ботинки ты уже понял. Четвёртое: если кто-то даёт что-то даром, спроси себя, зачем.

— Вы дали мне даром, — сказал я.

— Дал. — Он повернулся и в первый раз посмотрел на меня, прямо, коротко, и тут же отвёл глаза к лампе. — Вот и спроси себя, зачем. Может, я тебя ночью зарежу и ботинки сниму. А может, у меня сын был твоих лет. Сам думай, Ян. Тут каждый сам думает.

Он лёг на свою куртку, спиной ко мне, подложив под голову здоровую руку, а больную прижав к груди. Я ещё долго сидел, глядя на его затылок, на седую щетину, на жёлтое число над ним, и думал о том, был ли у него сын, где этот сын теперь и сколько лет было над его головой. Спросить я не посмел, потому что знал, что если спрошу, то захочу узнать и всё остальное, а всё остальное Томаш, наверное, рассказывать не захочет.

Я лёг на холодный кафель, подложив под голову ботинки, и укрылся курткой, подняв воротник до самых ушей. Над моим лицом мигала лампа, то загораясь, то угасая, и в её неровном свете кафель на потолке казался то белым, то серым, то совсем чёрным. Спать не получалось, хотя я так устал, что каждая мышца в теле ныла отдельно, и я лежал с открытыми глазами и смотрел на своё число.

Оно висело в самом верху зрения, белое, неподвижное, и я уже знал его наизусть, как знал когда-то шесть цифр лифтового кода. Каждые шесть минут последняя цифра проворачивалась с тихим щелчком, и я каждый раз слышал его, и каждый раз думал, что в эту минуту кто-то на Острове дошёл, сел на скамейку у трамвайной остановки и откинулся на спинку. Где-то наверху, над облаками, в моей комнате, на подоконнике стояли песочные часы, давно пустые, и никто их не перевернул.

Потом я подумал о матери, впервые за этот день по-настоящему. Я думал о ней весь день, урывками, между числами и вывесками, но только теперь, в темноте, позволил себе не отгонять

эти мысли. Мне представилось, что она тоже не спит, сидит у себя за запертой дверью, без капель и без линзы, и смотрит в зеркало на своё число, которое шесть лет считала каждое утро. Теперь ей не нужно было ничего доказывать этим числом, и всё равно она, наверное, считала его, потому что больше считать было нечего.

Ещё я подумал о Марке. У него сейчас было меньше семидесяти девяти тысяч ста мест, около трёхсот сорока четырёх дней, если никто не налил себе из него ещё раз. Где-то внизу, под этим переходом, под этим городом, ниже Средних уровней, лежал человек с моим лицом и повторял, что чуть-чуть больно, а потом всё хорошо, и я не знал, как туда попасть, и не знал даже, хватит ли мне на это трёхсот сорока четырёх дней.

Я сунул руку во внутренний карман куртки и нащупал записку Марка. Она была на месте, сложенная вдвое, и бумага стала мягкой, тёплой, нагретой моим телом. Я не стал её доставать, потому что знал каждое слово, и только держал её пальцами сквозь подкладку, пока не начал засыпать.

* * *

Разбудил меня не звук, а свет. Сначала я решил, что это мигнула лампа под потолком, но свет не мигал, он двигался, медленно, по стене, по кафелю, по спящим людям, белый и резкий, как свет фонарей в нижнем зале под нашим домом. Я лежал, не шевелясь, и смотрел, как он ползёт вдоль противоположной стены, задерживаясь на лицах.

Число в верхнем краю моего зрения стало уже на двести с лишним мест меньше, чем утром на ступеньках, и я понял, что проспал, наверное, несколько часов. Где-то в начале перехода, у лестницы, по которой я спускался вечером, стояли две тёмные фигуры, и у каждой в руке был фонарь. Голоса их доносились до меня глухо, неразборчиво, но я различил слово «чип» и ещё одно слово, «проверка», и почувствовал, как спина под курткой становится мокрой.

Томаш рядом со мной уже не спал. Он лежал на боку, лицом ко мне, и глаза у него были открыты, и он смотрел не на фигуры с фонарями, а на меня. Он чуть заметно мотнул головой в сторону другого конца перехода, где кафельная стена уходила в темноту и где, наверное, была ещё одна лестница наверх.

— Патруль, — сказал он одними губами. — Уходи, Ян. Тихо уходи. Ботинки в руки, на лестнице обуешься.

Я сел, подхватил ботинки и, пригнувшись, пошёл вдоль стены, мимо спящих людей, мимо старухи с пульсирующим чёрным числом, мимо картона и тряпок, туда, где кончался свет. Сзади, за спиной, белый луч фонаря медленно полз по кафелю, от лица к лицу, и с каждым шагом я слышал, как он становится ближе. В верхнем краю зрения последняя цифра моего числа провернулась с тихим щелчком, и я подумал, что где-то кто-то дошёл, а я всё ещё иду.

Глава 8

Ботинки я надел на верхней ступеньке лестницы, у самого выхода на улицу, и долго не мог попасть ногой в задник, потому что пальцы дрожали и не слушались. Шнурки были мокрые, холодные, и я завязывал их, сидя на корточках, спиной к стене, и всё время прислушивался, не идут ли следом шаги и не ползёт ли по ступенькам белый луч фонаря. Никто не шёл, только внизу, в переходе, кто-то бранился сиплым спросонья голосом, и голос этот постепенно стих, словно человек снова лёг и отвернулся к стене.

Снаружи было то же серое утро, что и вчера, тот же разбавленный рыжий свет под магистралями и тот же ровный гул, от которого дрожал асфальт. Я вышел из-под навеса и пошёл вдоль домов, не выбирая направления, просто чтобы уйти подальше от перехода, от Томаша и от двух тёмных фигур с фонарями. Пятка, натёртая вчера, горела при каждом шаге, а в животе было пусто и холодно, и от брикета, съеденного ночью, осталась только сухость во рту и вкус глины на языке.

Число в верхнем краю зрения провернулось с тихим щелчком, и я посмотрел на него, как смотрят на часы, сам того не желая. Девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи и ещё восемьсот с чем-то, белое, огромное, неподвижное. Мне казалось, что теперь оно будет висеть надо мной всегда, как висит над городом бурая пелена, и что я уже никогда не смогу ни на минуту забыть, сколько людей стоит передо мной и сколько из них я обогнал за чужой счёт.

* * *

Томаш сказал, что вниз ходят через узлы, и я весь рассвет искал глазами это слово. Я читал синие таблички на углах домов, названия улиц, номера галерей, схемы трамвайных линий на остановках, исцарапанные, заклеенные объявлениями, и нигде не было ни слова о том, как спуститься ниже. Город словно делал вид, что ниже него ничего нет, что он стоит на земле, как стоит дом на фундаменте, и что всё, что под фундаментом, никого не касается.

Спрашивать дорогу я боялся по-настоящему. Вчерашнее «пожалуйста» у киоска научило меня, что мой голос выдаёт меня быстрее, чем лицо, и что любой вопрос, заданный не тем тоном, запомнят. Я шёл и прислушивался к тому, как говорят люди вокруг, как они глотают окончания, как бросают слова через плечо, не договаривая, и пытался повторять это про себя, шевеля губами, как повторял в детстве стихи перед уроком.

Улица вывела меня на широкую галерею под второй магистралью, где по обеим сторонам тянулись лавки, мастерские и конторы с одинаковыми стеклянными дверями. Над дверями висели вывески попроще, чем на главных улицах, без бегущих букв и без мигания, просто белые буквы на синем: «Ремонт обуви», «Нотариус», «Пункт выдачи пайков». Люди здесь шли медленнее, многие стояли в очередях у дверей, и я замедлил шаг, чтобы не выделяться, и встал у витрины с обувными колодками, будто разглядываю их.

В стекле витрины отражалась галерея за моей спиной. Я увидел в нём серую толпу, жёлтые и белые огни вывесок, и ещё увидел, как толпа в дальнем конце галереи раздаётся в стороны, медленно и неохотно, как раздаётся вода перед носом лодки. Сквозь просвет в ней шли трое в чёрном, и даже в мутном отражении я различил серебряный кант на воротниках и рукавах.

Они шли не спеша, по одному у каждой стены и третий посередине, и смотрели людям в лица. Это я понял не сразу, а только когда один из них остановился перед мужчиной с портфелем, взял его за подбородок двумя пальцами, повернул его лицо к свету и отпустил. Во всей этой огромной толпе, где никто ни на кого не смотрел, только они смотрели прямо в глаза, и от этого их взгляды были видны издалека, как фонари.

Мне стало жарко под воротником, и я почувствовал, как по спине между лопатками стекает капля пота, медленно, щекотно. До них оставалось шагов сорок, не больше, и толпа между

нами была редкой, утренней, и спрятаться в ней было нельзя. Я отвернулся от витрины и пошёл вперёд, не быстро, не оглядываясь, считая шаги, и на двенадцатом шаге увидел справа стеклянную дверь, над которой висела белая табличка с синим знаком: два круга, соединённые стрелкой.

Под знаком было написано «Пункт Синхронизации № 114», и ниже, мельче, «Добровольная передача мест, налог Протокола — 20%». Дверь была приоткрыта, и за ней горел ровный белый свет. Я толкнул её плечом и вошёл, и дверь за мной закрылась с мягким шипением, отрезав гул галереи.

Внутри было тихо и пахло так, как пахло в кабинете Гана: дезинфекцией, тёплым пластиком и чем-то сладковатым, аптечным. Комната была маленькая, не больше нашей гардеробной, с белыми стенами и серым полом, и вдоль одной стены стояли в ряд пять пластиковых стульев, сцепленных между собой. У дальней стены была стойка, над ней стекло до самого потолка с узким окошком внизу, а за стеклом, в глубине, виднелась ещё одна комната, побольше, разделённая пополам низкой перегородкой.

Я остановился у двери и не знал, что делать дальше. На стене напротив стульев висел плакат, выцветший, с загнутым нижним углом, на котором женщина в голубом протягивала руку ребёнку, и между их ладонями, как мостик, тянулась светящаяся золотая нить. Надпись под ними гласила: «Подари время тем, кого любишь», а ещё ниже, совсем мелко, стояло то же самое, что на табличке у двери, про налог и про двадцать процентов.

За стеклом, за стойкой, сидела женщина. Она что-то писала в толстой тетради, низко склонив голову, и я видел только её макушку, светлые волосы, гладко зачёсанные назад и стянутые на затылке в тугой узел, и тонкий пробор, ровный, как проведённый по линейке. Над этой макушкой висело число, и оно было жёлтым.

Восемьдесят две тысячи четыреста с лишним. Я пересчитал его машинально, по старой привычке, и получил чуть меньше года, около одиннадцати месяцев с половиной, и тут же заставил себя отвести глаза на плакат с золотой нитью. Женщина подняла голову, посмотрела мне куда-то за левое ухо, как смотрели здесь все, и отложила ручку.

— Заявление? — спросила она через окошко.

Голос у неё был ровный, негромкий, немного хриплый, будто она много говорила с утра или мало спала ночью. Лицо было худое, бледное, с тонкими губами и с морщинками у глаз, которые делали её старше, чем она, наверное, была. На ней был серый форменный жилет с синим кантом, а на груди, на маленькой пластиковой табличке, было написано одно слово: «Вера».

— Нет, — сказал я и тут же поправился, вспомнив, как говорили на улице: — Не, я так. Подожду.

— Кого?

— Знакомого. — Я махнул рукой в сторону двери, неопределённо. — Договорились тут встретиться.

Вера посмотрела на дверь, потом снова мне за ухо, и ничего не сказала. Потом кивнула на сцепленные стулья у стены и снова взялась за ручку, и я понял, что разговор окончен, и что здесь, как и везде в этом городе, никому нет дела до того, кого и зачем я жду. Ручка её снова зашуршала по бумаге, ровно и мелко, как шуршит дождь по жестяному навесу.

Я сел на крайний стул, ближе к стойке, спиной к стене, так, чтобы видеть стеклянную дверь. Через несколько минут по галерее мимо неё прошли трое в чёрном, медленно, один за другим, и средний повернул голову и посмотрел внутрь, прямо сквозь стекло, на плакат, на стулья, на меня. Я опустил голову и стал развязывать шнурок на ботинке, и пальцы у меня снова не слушались, и узел никак не хотел поддаваться, пока шаги за дверью не стихли.

Подняв глаза, я увидел, что Вера смотрит на меня. Не за ухо и не поверх головы, а прямо, коротко, и тут же снова опустила взгляд в свою тетрадь, и ручка её снова побежала по строчкам.

Над ней висело жёлтое число, и последняя цифра в нём провернулась, пока я смотрел, и стала на единицу меньше.

Минут через двадцать дверь снова зашипела, и в пункт вошли двое: женщина лет сорока в коричневом пальто и мальчик, совсем маленький, лет шести, в вязаной шапке с помпоном. Мальчик держал мать за руку и тянул её вперёд, к стойке, и что-то говорил быстро, возбуждённо, глотая слова, а мать улыбалась и шла за ним, чуть наклонившись. Над ней висело белое число, долгое, лет на тридцать пять, а над мальчиком белое тоже, но короче, лет на двадцать с небольшим.

— Здравствуйте, — сказала женщина, подходя к окошку. — Мы на передачу. Записывались на сегодня, Ортис.

— Ортис, — повторила Вера, листая тетрадь. — Вижу. Передача от матери сыну, десять тысяч мест. Повод?

— День рождения. — Женщина положила ладонь мальчику на голову, на помпон. — Шесть лет сегодня.

— Поздравляю, — сказала Вера тем же ровным голосом, каким спрашивала про заявление, и подняла глаза на мальчика. — С днём рождения.

Мальчик спрятался за мать и выглянул из-за её пальто одним глазом. Вера пододвинула к окошку плоский терминал, похожий на тот, к которому я вчера прикладывал чип у киоска, только больше и с двумя тёмными площадками вместо одной. Женщина приложила к одной площадке ладонь, и терминал мягко прозвенел, а Вера что-то нажала у себя за стойкой и начала говорить, глядя в бумагу перед собой.

— Передача мест осуществляется добровольно, — говорила она, и голос её стал другим, гладким и безличным, как голос Сводки. — Передающий подтверждает, что действует без принуждения. Налог Протокола составляет двадцать процентов от передаваемого. Из десяти тысяч мест получателю будет зачислено восемь тысяч, две тысячи мест отходят Очереди. Подтверждаете?

— Подтверждаю, — сказала женщина.

— Проходите во вторую кабину. Ребёнка посадите напротив себя. Руки на подлокотники.

За стойкой, сбоку от стекла, открылась узкая дверь, и женщина с мальчиком прошли в дальнюю комнату. Теперь я видел её лучше: перегородка делила её на две половины, и в каждой половине стояли два кресла, белых, с высокими спинками, повёрнутых друг к другу. Над креслами, на стене, от пола до потолка, тянулось зеркало, широкое и чистое, и в нём отражались кресла, и женщина, которая усаживала сына, и её число над ней, и его число, хотя увидеть их в этом зеркале мог только каждый своё.

Мне вдруг стало трудно дышать. Кресла были не похожи на капсулы, совсем не похожи: открытые, белые, из простого пластика, с потёртыми подлокотниками, на которых остались светлые следы от сотен ладоней. В них не было ни игл, ни колец, ни ремней, и всё-таки я смотрел на них и чувствовал, как ноет шея под воротником, в том месте, где ещё неделю назад не было ничего, кроме гладкой кожи.

Женщина положила руки на подлокотники, и мальчик напротив неё сделал то же самое, старательно, серьёзно, как делают дети, когда им доверили взрослое дело. Вера за стойкой нажала что-то ещё, и где-то под потолком раздался долгий мелодичный звон, похожий на звон бокала, по которому провели мокрым пальцем. Звон длился несколько секунд, а потом стих, и стало так тихо, что я услышал, как гудит длинная лампа над стойкой.

Я смотрел на числа и видел, как они меняются. Белое число над женщиной дрогнуло и побежало вниз, не по одной цифре, как бежит число каждые шесть минут, а сразу целым разрядом, словно кто-то провёл пальцем по счётам. Белое число над мальчиком в тот же миг побежало вверх, и я считал, не дыша, и видел, что мать потеряла ровно десять тысяч, а сын получил ровно восемь.

Две тысячи мест исчезли где-то между креслами. Я сидел на пластиковом стуле и смотрел на это пустое место между ними, на белую перегородку, на потёртые подлокотники, и вспоминал, как Ган стоял у колонны в круглом зале, поправлял очки на кончике носа и говорил негромко, почти ласково: «Здесь налога нет». Тогда я не понял, о чём он, а теперь понял, и от этого понимания у меня свело желудок, как сводило вчера от голода.

Эти две тысячи мест были почти девятью днями чьей-то жизни, и они просто ушли, растворились в Очереди, отдались ей, как отдают десятину. Мать заплатила их за то, чтобы её сын прожил на тридцать с лишним дней дольше, и заплатила, не задумываясь, потому что так было положено. Мне же на ритуале налили больше полумиллиона, без всякого налога, без заявления и без подписи, и всё, что для этого понадобилось, это человек в соседней капсуле, который ни на что не соглашался.

В зеркале женщина смотрела не на себя. Она смотрела на сына, на пространство над его головой, туда, где висело его число, которого она видеть не могла, и улыбалась так, словно видела его и знала, что оно стало длиннее. Мальчик смотрел на своё отражение, задрав подбородок, и шевелил губами, наверное считая, и потом повернулся к матери и сказал что-то, чего я не расслышал через стекло, и она засмеялась.

Они ушли, и дверь за ними зашипела и закрылась, и в пункте снова стало тихо. Вера записала что-то в тетрадь, потом достала из-под стойки тряпку и маленький пульверизатор, прошла в дальнюю комнату и долго протирала подлокотники кресел, все четыре, хотя мальчик с матерью сидели только в двух. Она делала это тщательно, неторопливо, проводя тряпкой вдоль каждого шва, и я смотрел на её руки и думал, сколько ладоней прошло через эти подлокотники за день.

Я сидел и не уходил. Ищейки могли стоять за углом, у соседней двери, у выхода с галереи, и я не знал, где они, и не знал, когда они вернутся. Здесь, в белой тишине, пахнущей дезинфекцией, под плакатом с золотой нитью, мне было почти спокойно, и я сам не понимал почему, ведь каждое кресло за стеклом напоминало мне о капсуле.

Вера вернулась за стойку и села. Она не смотрела на меня и не спрашивала больше, где мой знакомый, и я был ей за это благодарен, хотя понимал, что она давно уже поняла, что никакого знакомого нет. Время от времени к пункту подходили люди, останавливались у двери, читали табличку и шли дальше, и за целый час больше никто не вошёл.

Я начинал понимать, почему мать говорила, что кабинки почти никто не любит. Двадцать процентов были не просто налогом, а наказанием за любовь, за желание поделиться, и платить его соглашались только тогда, когда не было другого выхода или когда повод был слишком важным, вроде дня рождения. Наверху никто не платил этого налога, потому что наверху была Синхронизация, о которой мне ни разу не сказали честно, и Медицинский уровень, куда отец ездил раз в месяц и откуда возвращался с числом ещё больше прежнего.

Около полудня, если я правильно угадывал время по усталости в ногах, дверь зашипела снова. В пункт вошёл мальчик лет восьми, худой, остриженный коротко, почти под ноль, в серой школьной куртке с нашивкой на рукаве и с ранцем на одном плече. На шее у него висел на шнурке ключ, тяжёлый, старый, и бился ему о грудь при каждом шаге.

— Мам, — сказал мальчик, не глядя на меня, и подошёл прямо к стойке. — Нас раньше отпустили. У Лукаса свет отключили, и всех отпустили.

— У Лукаса? — переспросила Вера. Голос у неё изменился, стал мягче и ниже, и в нём впервые за всё утро появилось что-то живое. — Учительница ваша, что ли, Лукас?

— Не учительница, а школа так называется, ты что, мам. — Мальчик закатил глаза, как умеют закатывать только дети, и поставил ранец на пол. — Суп есть?

— В термосе, в подсобке. Сначала руки вымой. Тима! Руки, я сказала.

Значит, его звали Тима, и я посмотрел над его головой раньше, чем успел себе запретить, и увидел белое число, и сначала даже не понял, что с ним не так. Оно было белым, честным,

спокойным, без единого жёлтого отблеска, и только когда я пересчитал разряды, мне стало холодно, словно кто-то открыл дверь на мороз. Мальчик стоял у стойки, переминаясь с ноги на ногу, и ничего не знал о том, что я вижу над ним.

Двести пятьдесят тысяч с небольшим. Это было чуть больше трёх лет, и это было всё, что ему досталось по Жребию в тот день, когда в основание его черепа вживили чип и Очередь назначила ему место. Ему было восемь, и в одиннадцать он должен был сесть на скамейку у трамвайной остановки и откинуться на спинку, если только кто-нибудь не отдаст ему своё.

Вера встала из-за стойки, подошла к стеклянной двери на галерею и повесила на ручку изнутри пластиковую табличку на шнурке. Я прочитал её сквозь стекло задом наперёд: «Технический перерыв». Потом она открыла боковую дверь за стойкой и сказала, не оборачиваясь:

— Иди в кресло. Суп потом.

— Мам, опять? — Тима скривился. — Ты же в прошлый раз…

— В прошлый раз было в прошлый раз. Иди, сказала.

Тима вздохнул, тяжело, по-взрослому, и пошёл за матерью в дальнюю комнату, волоча ноги, как ходят дети к врачу или к столу с невкусной кашей. Вера посадила его в кресло в первой кабине, сама села напротив, положила руки на подлокотники и кивнула ему, и он положил свои. Потом она наклонилась к пульту, вделанному в подлокотник, и нажала там что-то, и я понял, что заявление ей писать не нужно, потому что она сама и есть оператор.

— На меня смотри, — сказала она сыну, и голос её глухо донёсся из-за стекла. — Не в зеркало, на меня.

— Почему опять не в зеркало?

— Потому что я так сказала. Смотри на меня и рассказывай, что вам сегодня задали.

Под потолком раздался тот же долгий мелодичный звон. Тима сидел в кресле, свесив ноги, не достававшие до пола, и смотрел на мать, и рассказывал что-то про задачи с дробями, которые он не понимает, и про то, что какой-то Мирек опять отобрал у него карандаш. Вера кивала, не перебивая, и смотрела на него так, словно, кроме него, в этой комнате, в этом городе, на всём Острове больше никого не было.

Я видел, как побежало вниз её число. Оно и без того было жёлтым, и теперь бежало дальше, разряд за разрядом, и я считал вместе с ним, не в силах перестать. В ушах у меня стоял тот же долгий звон, и мне казалось, что он звенит не под потолком, а у меня в затылке, там, где сидит чип.

82 417

79 917

Она отдала две с половиной тысячи мест. Над Тимой белое число выросло на две тысячи, на восемь дней с небольшим, а над его матерью жёлтое стало меньше на десять дней и шагнуло за ту черту, за которой было уже не одиннадцать месяцев, а меньше. Пятьсот мест, два дня её жизни, ушли Очереди, растворились в белой перегородке между креслами, и никто этого не видел, кроме меня.

Звон под потолком наконец стих. Тима соскочил с кресла и сразу же, ещё на ходу, бросил быстрый взгляд в зеркало, и Вера поймала его за плечо и развернула к двери, мягко, но твёрдо. Мальчик засмеялся, будто это была игра, и побежал в подсобку за своим супом, а Вера ещё посидела в кресле, глядя на пустое место напротив, на подлокотники, на которых остались влажные следы от его ладоней.

Потом она встала, вышла из кабины и, проходя мимо зеркала, не повернула к нему головы. Я понял, что она не смотрит в него нарочно, так же старательно, как я всю жизнь смотрел людям в переносицу. В этом пункте, где зеркало было главной вещью после кресел, она одна обходила его взглядом, словно боялась увидеть там не своё число, а что-то другое.

Из подсобки пахло горячим супом, луком и укропом, и запах этот плыл через пункт и смешивался с дезинфекцией. Тима ел, сидя на табуретке в дверях подсобки, держа термос

между коленями и выуживая из него ложкой что-то длинное, похожее на лапшу. Вера снова сидела за стойкой, но не писала, а просто сидела, положив руки на тетрадь, и смотрела на сына.

Табличку с двери она так и не сняла. Я сидел на своём стуле у стены и понимал, что мне пора уходить, что перерыв кончится, что придут люди, что я и так сижу здесь слишком долго, и всё-таки не мог подняться. Мне казалось, что если я выйду сейчас за эту дверь, на галерею, то вынесу с собой что-то, чего не смогу потом нигде оставить.

Тима доел суп, вытер рот рукавом, совсем как я вчера у киоска, и полез в ранец. Он вытащил оттуда сложенный вчетверо листок, развернул его и понёс матери, держа обеими руками за края, как держат что-то хрупкое. По дороге он прошёл мимо меня и в первый раз посмотрел в мою сторону, как смотрят дети, без всякого обычая, прямо в лицо.

— Это солнце, — сказал он мне, хотя я ни о чём не спрашивал, и повернул листок ко мне. — Мы на рисовании рисовали. Мне пять поставили.

На листке, нарисованном цветными карандашами, был дом с треугольной крышей, зелёная трава и рядом с домом дерево, круглое, как облако. Над домом, в верхнем углу листа, сияло большое жёлтое солнце с длинными прямыми лучами, проведёнными по линейке, и каждый луч был обведён дважды, чтобы ярче. Я смотрел на это солнце и вспоминал, как оно каждое утро в шесть часов поднималось над Куполом и било в окно моей спальни, и как я щурился и закрывал глаза ладонью.

— Красивое, — сказал я. — Похоже.

— Похоже? — Тима нахмурился и посмотрел на меня с подозрением. — А ты разве видел солнце?

Вопрос был задан просто, по-детски, и я ответил раньше, чем подумал. В Шпилях никто никогда не спрашивал меня об этом, потому что солнце там было так же обычно, как воздух. Здесь же это слово прозвучало так, словно мальчик спросил, видел ли я живого Выжившего первого поколения.

— Видел, — сказал я.

За стеклом что-то стукнуло, тихо и коротко: это Вера положила ручку на стойку. Я не поднял головы, но почувствовал, как она смотрит на меня, и почувствовал, как горят уши под волосами. Тима ничего не заметил, он стоял передо мной, держа свой рисунок, и смотрел на меня уже с интересом, как смотрят на взрослого, который сказал что-то невероятное.

— Врёшь, — сказал он уверенно. — Его никто не видел. Его только на экране показывают, в учебнике, до войны. Мама, он врёт?

— Тима, — сказала Вера из-за стекла. — Дай человеку посидеть.

Тима пожал плечами и отвернулся, и рисунок выскользнул у него из рук. Листок спланировал на пол, перевернулся в воздухе и лёг солнцем вниз у самого моего ботинка, и я наклонился, чтобы поднять его, и почувствовал, как воротник куртки съезжает вниз по шее. Я поднял листок, выпрямился и протянул его Тиме, и Тима взял его и понёс матери, а я поправил воротник, но было поздно.

Вера смотрела на мою шею. Её лицо за стеклом не изменилось, только губы сжались чуть сильнее, и пальцы, лежавшие на тетради, перестали двигаться. Она взяла у сына рисунок, посмотрела на него, сказала «молодец, повесим дома», и голос её прозвучал так же мягко, как раньше, и только я, наверное, услышал в нём тонкую натянутую нить.

— Тима, — сказала она. — Иди в подсобку, сделай пока задачи. Дроби свои. Я проверю.

— Мам, ну у меня же перерыв…

— Задачи, Тима. Дверь закрой.

Мальчик ушёл, волоча ранец, и дверь подсобки закрылась за ним, неплотно, оставив узкую щель, в которой горел жёлтый свет. Вера сидела за стойкой и смотрела на меня через стекло, и теперь уже не отводила глаз ни за ухо, ни поверх головы. Над ней висело жёлтое

число, семьдесят девять тысяч девятьсот с чем-то, и я смотрел ей в переносицу, как привык смотреть всю жизнь, чтобы не смотреть выше.

— Сядь ближе, — сказала она наконец. — К окошку. Не хочу кричать.

Я встал и пересел на крайний стул у самой стойки. Теперь между нами было только стекло и узкое окошко внизу, и я видел вблизи её руки, сухие, с короткими ногтями, с тонким белым шрамом на костяшке указательного пальца. От окошка пахло её духами, дешёвыми, сладкими, и ещё чем-то, похожим на запах мыла.

— Утром приходили, — сказала Вера тихо, глядя не на меня, а на свои руки. — Двое, в чёрном. Ко всем пунктам ходят, говорят. Показали на планшете лицо. Молодой человек, восемнадцать лет, может быть в рабочей одежде. Если придёт, ничего не делать, сразу нажать. — Она чуть кивнула вниз, под стойку. — Кнопка у меня тут. Для тревоги.

Я посмотрел туда, куда она кивнула, хотя видеть сквозь стойку ничего не мог. Вчера в ночлежке парень за стойкой тоже опустил руку вниз, медленно, почти лениво, и я помнил, как скользнула его ладонь, и как я бежал вниз по лестнице, прыгая через ступеньки. Руки Веры лежали на тетради, обе, неподвижно, и я смотрел на них и ждал, что одна из них поползёт вниз.

— На планшете ты был другой, — продолжала она. — Причёсанный. В белом. Красивый, как с плаката. Я тебя не сразу узнала, когда ты вошёл. Потом узнала, когда ты от двери отвернулся, чтобы тебя с галереи не видели.

— Почему вы не нажали? — спросил я.

Вера ничего не ответила на это. Она посмотрела на щель в двери подсобки, на жёлтый свет в ней, и долго молчала, и я слышал только, как гудит лампа над стойкой и как где-то за стенкой, в подсобке, Тима бормочет вслух что-то про числители и знаменатели. Потом она снова посмотрела на мою шею, туда, где под воротником прятались чёрные нити.

— Это у тебя откуда? — спросила она.

— Вы знаете, что это?

— Знаю. — Голос её стал жёстче. — Я пятнадцать лет на передачах, мальчик. Тут такое не делают, тут кресла и налог. Но ко мне раз в год приходят, бывает. Сверху приходят, по ошибке или по глупости, думают, что тут то же самое, что у них. Шарфом обмотаются, воротник поднимут. А внизу, говорят, по этим нитям Пастырей узнают. — Она помолчала. — Тебя пили или ты пил?

Вопрос был задан тихо, ровно, без всякого выражения, и от этого он ударил сильнее, чем ударил бы крик. Я открыл рот и не смог ничего сказать, потому что в горле что-то сжалось, сухое и горячее, как вчерашний брикет. Я видел перед собой белый зал, и матовую перегородку, которая медленно становилась прозрачной, и лицо за ней, серое, исхудавшее, с моим носом и моими бровями.

— Из моего друга, — сказал я наконец, и голос у меня сорвался. — Для меня. Я не знал. Мне не сказали, что это будет он. Я узнал, только когда… когда уже лёг.

— Теперь знаешь.

— Теперь знаю.

Вера кивнула, медленно, словно запоминала мой ответ, чтобы потом обдумать его отдельно. Она снова перевела взгляд, теперь уже поверх моей головы, по обычаю, в пустоту над моими волосами, где, как она думала, висело моё дело, а не её. Над ней самой висело жёлтое число, и последняя цифра провернулась с тихим щелчком, слышным только мне.

— Он живой? — спросила она. — Друг твой?

— Был живой, — сказал я. — Четыре дня назад был. Его увезли. Я не знаю куда. Я ищу его.

— Здесь его нет. — Вера покачала головой. — Здесь, на Земле, таких не держат. Если его куда и увезли, то вниз.

— Я знаю. Мне туда и нужно.

Она посмотрела на меня ещё раз, коротко, и я увидел в её глазах что-то, чего не мог назвать. Это не было ни жалостью, ни страхом, ни злостью, а чем-то усталым и очень старым, словно она смотрела на меня так, как смотрела на каждого, кто садился в её кресла, и знала заранее, чем всё кончится. Мне захотелось опустить голову, но я не опустил, потому что понимал, что это было бы ещё одной ложью.

— Знаешь, сколько раз я сидела в этом кресле? — спросила Вера вдруг.

Она и не ждала от меня ответа. Она смотрела через стекло в дальнюю комнату, на первую кабину, на два белых кресла, повёрнутых друг к другу, на потёртые подлокотники и на зеркало, в которое она не смотрела, проходя мимо. Пальцы её лежали на тетради, и я заметил, что тетрадь была старая, толстая, с обтрёпанным корешком, и что на обложке, под прозрачной плёнкой, был наклеен детский рисунок, выцветший до бледной желтизны.

— Сто сорок два раза, — сказала она. — Каждую неделю, три года. С тех пор как ему пять исполнилось и мне разрешили. Раньше нельзя, раньше налог для маленьких больше, сорок процентов, потому что, говорят, чип у них неустойчивый, места теряются. — Она усмехнулась, одним углом рта. — Я считала. Я всё считаю. Знаешь, сколько я ему отдала?

— Сколько?

— Почти четыреста тысяч мест. Он получил триста двадцать. Восемьдесят тысяч ушли туда. — Она кивнула куда-то вверх, неопределённо, то ли на потолок, то ли на всё, что было за потолком. — Восемьдесят тысяч. Это почти год, мальчик. Целый год моей жизни я отдала не ему, а им, за то, что мне разрешили отдать ему остальное.

Я долго ничего не говорил в ответ.Мне нечего было сказать, и я понимал, что любое слово, которое я скажу, будет словом сверху, гладким, пустым, как то «пожалуйста» у киоска. Я сидел и смотрел на её руки, на тонкий шрам на костяшке, и думал о том, что Тиме сейчас восемь, что у него три года, и что без этих трёхсот двадцати тысяч у него было бы меньше двух.

— Не смотрит он в зеркало, — сказала Вера тише, словно отвечая на вопрос, которого я не задавал. — Я не даю. Дома у нас зеркала нет, я его сняла, когда Тиме четыре было и он первый раз своё число увидел и спросил, это много или мало. В школе зеркала в туалете, я с учительницей говорила, чтобы не пускали одного, пусть ходит с кем-нибудь. Глупо, да? Всё равно когда-нибудь увидит. Вот тут, в кабине, каждую неделю могу его посадить к зеркалу спиной, а посадила лицом, потому что так провода идут. Каждую неделю говорю, смотри на меня.

— Это не глупо, — сказал я.

— Ты-то откуда знаешь. — Она сказала это без злости, просто, как говорят правду. — У тебя небось зеркало в каждой комнате было. Своё число каждое утро видел, с детства, и не боялся, потому что бояться нечего.

Я ничего не ответил ей на это. Она была права и не права одновременно, и объяснить ей, в чём она не права, я не мог, потому что для этого пришлось бы рассказать о том, что я видел над головами Тони, Ефима, Томаша, мужчины на трамвайной остановке и её собственного сына. Я сидел и смотрел ей в переносицу, а над ней, в полуметре от моих глаз, висело жёлтое число, семьдесят девять тысяч девятьсот, и я видел его так же ясно, как видел своё.

Вера посмотрела на часы над дверью, круглые, белые, с чёрными стрелками. До конца перерыва, наверное, оставалось немного, и за дверью, на галерее, уже стояла какая-то женщина с сумкой и читала табличку, хмурясь. Вера взяла ручку, повертела её в пальцах и положила обратно, как Томаш вертел вчера сигарету, и я понял, что она решает что-то, и что решение это даётся ей нелегко.

— Ниже Ищейки не любят спускаться, — сказала она наконец, тихо и быстро. — Там у них ни камер, ни экранов, ничего не работает, они туда только толпой ходят. Тебе вниз надо, и чем скорее, тем лучше. Узел на Сорок Второй, знаешь, где это?

— Нет.

— По этой галерее до трамвайного кольца, там налево, под эстакаду, и всё время вниз, по лестницам, пока не увидишь большие ворота с жёлтыми полосами. Это Сорок Вторая. Там клеть для рабочих, смена вечерняя в восемь часов, народу много, все в серых куртках, как ты. — Она помолчала. — На рамке чип читают. Как ты через рамку пройдёшь, я не знаю. Это уж ты сам думай.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что тут спасибо. — Вера посмотрела поверх моей головы. — Ничего я тебе не говорила. И ты здесь не был. Сидел какой-то парень, ждал знакомого, не дождался, ушёл.

Я встал со своего стула. Ноги затекли от долгого сидения, и в натёртой пятке снова застучала боль, горячая, острая, как будто в ботинок насыпали песку. Я постоял секунду у стойки, глядя на её руки, на тетрадь с выцветшим рисунком под плёнкой, на щель в двери подсобки, где Тима бормотал свои дроби, и вспомнил о кольце.

Я снял его с безымянного пальца не сразу. Оно сидело плотно, и мне пришлось покрутить его, чтобы оно сошло через сустав, и на пальце осталась светлая вдавленная полоска, такая же, как вчера под браслетом. Кольцо было тёплое, нагретое моей рукой, и маленький тёмный камень тускло блеснул под лампой, а на внутренней стороне ободка, крошечный, едва различимый, темнел знак дома Ракитиных.

Я положил его на стойку, у самого окошка, знаком вниз, камнем вверх. Под белым светом лампы оно казалось совсем маленьким, почти игрушечным, и тёмный камень в нём был похож на каплю. Мне вдруг подумалось, что это первая вещь, которую я отдаю сам, по своей воле, а не потому, что у меня её отнимают.

— Это ещё зачем? — спросила Вера.

— Для Тимы, — сказал я. — Его можно продать. Там внутри знак, его надо… его можно стереть, наверное. Или продать вместе с камнем отдельно. Я не знаю, как здесь продают. Это всё, что у меня есть.

— Забери. — Вера не шевельнулась, только посмотрела на кольцо так, словно на стойке лежала змея. — Ты с ума сошёл? С таким знаком меня завтра же… Забери, слышишь?

— Камень хороший. Мать говорила, его ещё её мать носила. Вы найдёте, как продать.

— Мальчик, — сказала она, и голос её дрогнул в первый раз за весь разговор. — Мне твоё золото не нужно. Мне вообще ничего твоего не нужно. Забери и иди.

Я не стал забирать кольцо обратно. Я отступил от стойки на шаг, потом ещё на шаг, к двери, и Вера смотрела на меня через стекло, не на кольцо, а на меня, и не говорила больше ничего. Женщина с сумкой за дверью подняла руку и постучала костяшками по стеклу, нетерпеливо, и стук этот прозвучал в тишине пункта громко, как выстрел.

Я снял табличку с ручки, отдал её женщине с сумкой, не глядя ей в лицо, и вышел на галерею. Женщина взяла табличку, удивлённо повертела её в руках и протиснулась мимо меня в пункт. Дверь за моей спиной зашипела и начала закрываться, и в последнюю секунду, в узкой щели между стеклом и косяком, я увидел, как Вера накрыла кольцо ладонью и, не поднимая руки со стойки, повернула голову к двери подсобки, туда, где горел жёлтый свет и где её сын считал свои дроби.

Над Верой висело жёлтое число, ставшее меньше на два с половиной дня с тех пор, как я вошёл. Я успел заметить его в последний раз и запомнил так же, как запоминал все числа, которые не хотел помнить. Дверь закрылась, и белый свет пункта остался за стеклом, а меня снова обступил гул галереи, и запах горячего пластика, и серые спины людей, которые шли мимо, не глядя ни на меня, ни друг на друга.

* * *

Я пошёл к трамвайному кольцу, как сказала Вера, по той же галерее, среди тех же серых спин. Ищеек нигде не было видно, но я шёл, опустив голову, и каждую минуту ждал, что из толпы вынырнет чёрная форма с серебряным кантом и чьи-то пальцы возьмут меня за подбо-

родок и повернут к свету. Палец без кольца казался голым и лёгким, и я то и дело трогал его большим пальцем, нащупывая пустую вдавленную полоску, как трогают языком место выпавшего зуба.

Мне было странно, что я ничего не чувствую. Я ждал, что пожалею о кольце, что буду думать о матери, о том, как она надела мне его в день шестнадцатилетия и сказала что-то, чего я теперь уже не мог вспомнить, и как поцеловала меня в лоб, пахнущая лавандой. Вместо этого я думал о жёлтом числе над Верой, о двух с половиной тысячах мест, о пятистах, которые ушли Очереди, и о том, что кольцо, если его продать, наверное, стоит меньше, чем эти пятьсот.

Ещё я думал о том, что она не нажала. Её рука лежала на тетради всё время, пока мы говорили, и ни разу не поползла вниз, под стойку, хотя Ищейки, наверное, обещали за меня что-то, и это что-то могло стать для Тимы ещё одним годом, или двумя, или пятью. Я не знал, почему она не нажала, и понимал, что никогда не узнаю, и что спрашивать об этом было бы нечестно, как нечестно было спрашивать Томаша, был ли у него сын.

Где-то позади, в белом пункте с плакатом про золотую нить, женщина с сумкой, наверное, уже сидела в кресле и смотрела в зеркало на своё число. Вера говорила ей гладким голосом Сводки про добровольность и про двадцать процентов, и Тима за дверью подсобки считал свои дроби, и кольцо с тёмным камнем лежало где-нибудь в кармане серого жилета или под обложкой старой тетради. Мне хотелось верить, что оно лежит там, а не в мусорном ведре и не в руках у человека в чёрном.

Я дошёл до трамвайного кольца и свернул налево, под эстакаду, туда, где тянулись вниз крутые бетонные лестницы, пахнущие сыростью и ржавчиной. Число в верхнем краю зрения провернулось с тихим щелчком, и я подумал, что где-то на Острове дошёл ещё один человек, и что Тиме, пока я спускаюсь по этой лестнице, тоже стало на несколько минут меньше. Где-то под этими лестницами, под всем этим городом, ждала меня клеть для рабочих, и рамка, которая читает чип, и вечерняя смена в восемь часов, и я пока не знал, как пройду через неё.

Глава 9

Лестницы под эстакадой уходили вниз так же бесконечно, как вчера уходил вниз грузовой лифт, только теперь я спускался сам, ступенька за ступенькой, и каждую ступеньку чувствовал натёртой пяткой. Бетон был сырой и скользкий, перила ржавые, холодные, и на поворотах пролётов под ногами хрустело битое стекло и шуршали обрывки серой обёрточной бумаги. С каждым пролётом свет становился тусклее, вывесок меньше, а гул магистралей глуше, словно город наверху понемногу отворачивался от меня и закрывал за собой дверь.

Я шёл медленно, потому что торопиться было некуда. Вера сказала, что смена в восемь вечера, а до восьми оставалось, по моим подсчётам, часов семь, и эти семь часов надо было где-то прожить, не попавшись на глаза ни Ищейкам, ни патрулю, ни парню с бритыми висками, который мог оказаться за любой стойкой. Число в верхнем краю зрения щёлкало каждые шесть минут, и я поймал себя на том, что начал отсчитывать время по нему, как отсчитывал когда-то по бою часов в нашем холле.

На одной из площадок, между пролётами, я остановился и сел на ступеньку, прислонившись спиной к стене. Сверху никто не шёл, снизу тоже, и я расстегнул куртку и сунул руку во внутренний карман. Записка Марка лежала там, где я положил её позапрошлой ночью у себя в спальне, сложенная вдвое, мягкая, тёплая, и я вытащил её и долго держал на ладони, не разворачивая.

Томаш сказал, что хорошие ботинки здесь долго не лежат, и я думал теперь, что хорошие куртки, наверное, лежат ещё меньше. Куртку могли снять с меня спящего, могли сорвать в драке, могли потребовать отдать, и вместе с курткой ушли бы футляр матери и эта записка, и тогда у меня не осталось бы ничего, кроме числа в верхнем краю зрения. Я расстегнул верхнюю пуговицу серой рубашки, нащупал под ней нагрудный карман, маленький, с клапаном на кнопке, и переложил записку туда.

Бумага легла к самому телу, к рёбрам, слева, там, где бьётся сердце, и я застегнул клапан и потом ещё долго прижимал его ладонью. Мне казалось, что я слышу через ткань, как записка шуршит при каждом вдохе. Футляр с линзой я оставил в куртке, потому что он был твёрдый и большой и не помещался больше никуда, и подумал, что если куртку отнимут, то пусть отнимут вместе с ним, а линза останется у меня в глазу.

* * *

К двум часам дня, если верить моему счёту, лестницы кончились. Последний пролёт вывел меня на широкую бетонную улицу, низкую, без магистралей над головой, потому что вместо неба здесь был потолок, тёмный, закопчённый, с длинными трубами и рядами ламп в проволочных колпаках. Дома здесь стояли вплотную к потолку и упирались в него крышами, как упираются плечами грузчики, держащие что-то тяжёлое, и окна в них были маленькие, редкие и почти все тёмные.

Людей на этой улице было меньше, чем наверху, и они были другие. Куртки у них были те же, серые, рабочие, только старее, в пятнах и заплатах, а лица серее, и шли они медленнее, тяжелее, сутулясь, словно потолок давил им на плечи. Над ними висели числа, белые и жёлтые, и жёлтых было ещё больше, чем на галерее у Веры, и я перестал их считать на втором десятке, потому что считать было больно.

Запах здесь тоже стал совсем другим. Наверху всё пахло горячим пластиком и жареным маслом, а здесь пахло сыростью, ржавчиной и ещё чем-то кислым, тяжёлым, как запах из старого погреба, и к этому запаху примешивался резкий, сладковатый дух машинного масла. Где-то за стенами домов, глубоко, ровно, на одной низкой ноте, гудели машины, и гул этот шёл не сверху, как гул магистралей, а снизу, из-под ног, и отдавался в подошвах ботинок.

Ворота с жёлтыми полосами я увидел издалека. Они стояли в конце улицы, там, где она упиралась в огромную бетонную стену, высотой до самого потолка, и были такие широкие, что в них мог бы въехать наш дом целиком, со всеми его тремя уровнями. Жёлтые и чёрные полосы шли по ним наискосок, облупившиеся, затёртые, и над воротами горела надпись из больших белых букв, половина которых не светилась: «Узел 42, спуск к нижним горизонтам».

Я не пошёл к воротам сразу. Сначала я долго ходил по соседним улицам, кругами, держась от ворот на таком расстоянии, чтобы видеть их, но не подходить, и смотрел, как они работают. Ворота не закрывались ни на минуту, в них всё время входили и выходили люди, по одному, по двое, группами, и внутри, за ними, горел яркий белый свет, такой яркий после тусклых улиц, что на него больно было смотреть.

Около четырёх часов я нашёл место, откуда было видно, что делается за воротами. Это была узкая железная лестница, приваренная к стене соседнего склада, и я поднялся по ней до площадки на высоте второго этажа и сел там, в тени, за ржавым ящиком с мусором. Отсюда, через широкий проём ворот, я видел огромный зал, белый, светлый, с высоким потолком, и в дальнем конце зала, у самой стены, ряд рамок.

Их было восемь, серых, металлических, высотой в полтора человеческих роста, и каждая была похожа на дверной косяк без двери. Над каждой рамкой висел маленький экран, и когда человек проходил сквозь рамку, экран загорался зелёным, и на нём появлялись буквы, которых я не мог разобрать с такого расстояния. Человек проходил, экран гас, следующий проходил, экран загорался снова, и так без конца, ровно, как щелчки моего числа.

За рамками зал кончался и начиналась шахта. Я видел только её край, огороженный высоким сетчатым забором, и за забором тёмную пустоту, из которой время от времени поднимались большие решётчатые клети, освещённые изнутри жёлтыми лампами. Клети поднимались, люди выходили из них, другие люди входили, решётки задвигались, и клети опускались обратно в темноту, медленно, с долгим скрежетом, который доносился до меня даже сюда, через всю улицу.

У рамок стояли люди в чёрном. Я насчитал четверых, по двое с каждого края, и они не проверяли никого, просто стояли, сложив руки за спиной, и смотрели на проходящих. Иногда один из них поднимал руку, и человек у рамки останавливался, и Ищейка подходил к нему, брал за подбородок и поворачивал его лицо к свету, как делали утром на галерее, а потом отпускал, и человек шёл дальше.

Я сидел за мусорным ящиком и понимал, что пройти через рамку не смогу. Экран над рамкой загорался для каждого, кто проходил, и показывал что-то, наверное имя, и мой чип показал бы моё, Александр Ракитин, и Ищейки у рамки увидели бы его раньше, чем я успел бы сделать второй шаг. Я думал о том, чтобы перелезть через забор, но забор был высокий, с колючей проволокой поверху, и вдоль него ходили люди в оранжевых жилетах, а за забором была шахта, и я не знал, как глубоко она уходит.

* * *

Часам к шести улица перед воротами начала наполняться людьми. Они шли из боковых переулков, из подъездов, с лестниц, по одному и группами, все в серых рабочих куртках, многие с металлическими судками в руках, такими же, как у мужчины на трамвайной остановке. Они собирались у ворот, стояли, курили, переговаривались вполголоса, и над ними поднимался сизый табачный дым и висел под закопчённым потолком, не находя выхода.

Я спустился со своей лестницы и подошёл ближе, к краю толпы. Меня никто не заметил, потому что моя куртка была такой же серой, как у всех, а лицо, наверное, таким же усталым, и я встал у стены, рядом с двумя пожилыми рабочими, которые спорили о чём-то, не глядя друг на друга. Один из них, лысый, с толстой красной шеей, держал в руках судок и время от времени постукивал по нему пальцами, как по барабану.

— А я тебе говорю, на седьмом горизонте опять крепь поплыла, — говорил лысый. — Мне Бартош сказал. Если опять перекроют, опять в обход погонят, это лишние два часа.

— Бартош твой много чего говорит, — отвечал второй, худой, с длинными седыми усами. — В прошлый раз тоже говорил, что поплыла. А ничего не поплыло.

— В прошлый раз не поплыло, а в этот раз поплывёт. Ты там давно был? Там течёт, как из бани. Сверху течёт, с боков течёт…

Я слушал их и не понимал половины слов, но запоминал их, как запоминал всё в эти дни: горизонт, крепь, поплыла. Над лысым висело белое число, лет на пятнадцать, а над усатым жёлтое, месяцев на девять, и усатый, наверное, знал об этом, потому что время от времени поднимал руку и тёр висок, медленно, двумя пальцами. Я отвёл глаза и стал смотреть на ворота, за которыми горел белый свет и стояли восемь серых рамок.

Без четверти восемь толпа зашевелилась. Где-то за воротами коротко взвыла сирена, и люди начали гасить окурки о стену, подхватывать судки и сумки, и потекли к воротам, сначала медленно, потом быстрее, плотной серой рекой. Меня подхватило и понесло вместе с ними, и я не сопротивлялся, потому что сопротивляться было ещё страшнее, чем идти.

В белом зале было светло и шумно. Шаги сотен ботинок гулко отдавались под высоким потолком, люди толкались, переругивались, выстраивались в очереди к рамкам, и очереди эти двигались быстро, по одному человеку каждые две-три секунды. Я оказался в очереди к пятой рамке, между лысым с судком и молодым парнем в вязаной шапке, и стоял, глядя в затылок лысому, и чувствовал, как с каждым его шагом вперёд у меня холодеют руки.

До рамки оставалось человек двадцать. Я видел её теперь хорошо: серый металл, потёртый на уровне плеч, и экран над ней, на котором при каждом проходе загоралась зелёная полоса и короткая надпись, фамилия, инициалы и номер смены. Двое в чёрном стояли справа от рамки, и один из них смотрел на проходящих, а второй смотрел куда-то вверх, на табло над шахтой, где бежали белые буквы.

Я понял, что рядом со мной кто-то есть, не сразу. Сначала я заметил, что стало тише, словно кто-то прикрутил звук в зале, и шаги, и голоса, и скрежет клетей отодвинулись куда-то назад. Потом я заметил, что парень в вязаной шапке, стоявший за мной, отступил на шаг, потом ещё на шаг, и между нами образовалось пустое место, а в пустом месте стоял человек.

Он стоял слева от меня, чуть позади, так близко, что я мог бы, не поворачивая головы, коснуться его плеча. На нём была серая рабочая куртка, такая же, как у всех в этом зале, застёгнутая до самого горла, и серые брюки, и тяжёлые ботинки, и ничего в нём не было такого, на чём мог бы задержаться взгляд. Лицо у него было тоже обычное, немолодое, гладко выбритое, с бледными тонкими губами, такое лицо, которое забываешь в ту же секунду, как отворачиваешься.

Над его головой не было числа. Точнее, оно было, но я не мог его прочитать: там, где должны были стоять цифры, висело мутное серое пятно, мерцающее, дрожащее, как дрожит воздух над раскалённым асфальтом. Я уже видел такое пятно один раз, в Большой галерее, на приёме в честь моего совершеннолетия, над человеком, который стоял один в дальнем конце зала и держал бокал, не поднося его к губам.

— Не оглядывайся, Тень, — сказал Гончий тихо. — Просто иди. Очередь движется.

Я так и не оглянулся на него. Я не смог бы оглянуться, даже если бы захотел, потому что шея у меня стала деревянной, и колени тоже, и я шагнул вперёд вслед за лысым только потому, что ноги сделали это сами. Слово, которое он сказал, ударило меня так, что на секунду в глазах потемнело, и я услышал, как в ушах стучит кровь, громко, часто, заглушая всё остальное.

Тенью меня звал Марк, когда нам было по шесть лет, потому что никто не мог разобрать, кто из нас чья тень. Так звала меня мать, утром перед ритуалом, у двери моей спальни, и ещё раз ночью, в темноте, когда отдавала мне хронолинзу и код лифта. Больше никто на всём Острове не знал этого слова, никто, ни отец, ни Ника, ни Тоня, никто.

— Ты хорошо держишься, — продолжал он тем же тихим ровным голосом, словно мы с ним стояли в очереди за пайком и говорили о погоде. — Для второго дня очень хорошо. Браслет в лифте, это было умно. Чип в водосток тоже умно, хотя и поздно. Брикет у Томаша ты съел правильно, не отказался. Отказываться было бы глупо и обидно для него.

— Откуда… — Голос у меня сел, и я сглотнул. — Откуда вы знаете?

— Ты задаёшь не тот вопрос. — В его голосе не было ни насмешки, ни угрозы, только лёгкая, почти учительская мягкость. — Откуда я знаю, неважно. Важно, почему я стою рядом с тобой, а не у тебя за спиной с наручниками. Спроси об этом.

Очередь сдвинулась ещё на шаг. Лысый впереди постукивал пальцами по судку, не оборачиваясь, а люди справа и слева от нас смотрели вперёд, на рамки, или вверх, на табло, и никто не смотрел на нас, словно нас здесь не было. Двое в чёрном у пятой рамки стояли всё так же, сложив руки за спиной, и я видел, как один из них скользнул взглядом по очереди, задержался на человеке рядом со мной и тут же отвёл глаза.

— Почему? — спросил я.

— Потому что ты ещё ничего не видел, — сказал Гончий.

Он сказал это так просто и так уверенно, что я почти поверил, что это ответ. Я шёл вперёд, шаг за шагом, и в верхнем краю зрения щёлкало моё число, а рядом со мной, чуть позади, висело над серой курткой мутное пятно, в котором не было ни одной цифры. От него не пахло ничем, ни табаком, ни потом, ни мылом, как пахло от всех остальных в этом зале, и я вдруг понял, что не слышу его шагов, хотя он шёл в тяжёлых рабочих ботинках по бетонному полу.

— Отец меня ищет, — сказал я.

— Ищет, — согласился он. — Я тоже ищу. Я тебя нашёл, как видишь.

— Вы меня отведёте к нему?

— Не сегодня.

— Почему не сегодня?

Он помолчал, словно обдумывая ответ. Очередь сдвинулась, и мы сдвинулись вместе с ней, и до рамки осталось человек двенадцать. Я видел зелёную полосу на экране над ней, видел, как она загорается и гаснет, загорается и гаснет, и видел буквы, и теперь уже мог прочитать их: «Новак Д., смена 3», «Кшиштоф Л., смена 3», «Йонас А., смена 3».

— Кабинка была хорошая, — сказал Гончий вместо ответа. — И кольцо. Кольцо было щедро, Тень. Очень щедро. Камень там ещё прабабушкин, ты знаешь? Она его не продаст. Такие не продают, такие прячут и всю жизнь не знают, что с ними делать.

Мне стало холодно, так холодно, что я сжал зубы, чтобы они не стучали. Я думал о белом пункте с плакатом про золотую нить, о Вере, которая накрыла кольцо ладонью, о Тиме с его рисунком и его дробями. Я думал о кнопке под стойкой, которую она не нажала, и о том, что этот человек рядом со мной знает о кольце, и, значит, знает и о ней, и о Тиме, и обо всём остальном.

— Не трогайте её, — сказал я, и голос у меня дрогнул. — Она ничего не сделала. Она меня не видела. Я просто сидел там и ждал…

— Знакомого, — подсказал Гончий. — Я знаю. Не беспокойся за неё. Она мне не интересна. Её история не про тебя, у неё своя.

До рамки оставалось человек пять. Лысый впереди перестал постукивать по судку и полез в карман за чем-то, а парень в вязаной шапке, отступивший от нас, так и стоял теперь в стороне, в соседней очереди, и смотрел на табло. Я слышал, как мне в спину дышит кто-то, кто встал за Гончим, и слышал, как гудит рамка, тихо, на высокой ноте, как гудела лампа над стойкой Веры.

— Вы знаете, где Марк? — спросил я.

Я не собирался спрашивать этого. Вопрос вырвался сам, так же, как вырвалось у меня утром «видел» в ответ на вопрос Тимы, и я сразу пожалел о нём и сразу же понял, что не жалею. Человек, который знал о Томаше, о брикете, о кольце и о Тени, мог знать и это.

— Знаю, — сказал Гончий.

— Скажите мне. Пожалуйста.

— Нет. — Он сказал это мягко, почти с сожалением. — Если я скажу, ты мне не поверишь. Ты должен найти его сам. Тогда поверишь.

— Он умирает! У него осталось меньше года, у него…

— Триста сорок три дня, — сказал Гончий. — Если никто не нальёт себе из него ещё раз. Я знаю, Тень. Я считаю не хуже тебя.

Лысый наконец шагнул в серую рамку. Экран над ней вспыхнул зелёным, и на нём загорелось «Бартош Г., смена 3», и я подумал, что это, наверное, и есть тот самый Бартош, который говорил, что на седьмом горизонте поплыла крепь. Лысый прошёл сквозь рамку, не замедляя шага, и пошёл дальше, к сетчатому забору, к клетям, постукивая пальцами по своему судку.

Передо мной была пустая серая рамка. Я стоял перед ней и не мог сделать шаг, потому что знал, что сейчас экран над ней загорится и на нём появится моё имя, и двое в чёрном справа повернут головы. Я стоял так секунду, другую, и кто-то сзади, за Гончим, нетерпеливо кашлянул.

Тогда Гончий шагнул мимо меня вперёд. Он прошёл совсем близко, задев меня плечом, и остановился у рамки, сбоку, и положил ладонь на серый металл, легко, небрежно, так, как кладут руку на плечо старого знакомого. Экран над рамкой загорелся зелёным, ровным, спокойным светом, и на нём не появилось ни одной буквы, только зелёная полоса и короткое слово: «Проход».

— Иди, — сказал он. — Внизу тебе покажут, сколько стоит твоё милосердие. Запомни цену, Тень. Потом сам решишь, платить ли дальше.

Я шагнул в рамку вслед за ним. Металл прошёл у меня над головой и по бокам, совсем рядом, и я почувствовал, как в затылке, в основании черепа, что-то коротко кольнуло, словно кто-то тронул чип холодным пальцем. Экран надо мной горел зелёным, и на нём было написано всё то же слово, «Проход», и ни имени, ни смены, ни номера.

Я прошёл через неё насквозь. Двое в чёрном справа от рамки стояли всё так же, сложив руки за спиной, и смотрели не на меня, а вверх, на табло над шахтой, оба, одновременно, словно там показывали что-то очень интересное. Я сделал ещё несколько шагов по белому полу, к сетчатому забору, и только тогда обернулся.

Гончий стоял по ту сторону рамки и смотрел на меня. Он не улыбался и не кивал, просто смотрел, спокойно и внимательно, как смотрят на доску после хода, и над его головой дрожало мутное серое пятно. Потом он повернулся и пошёл назад, против потока, сквозь толпу, и толпа раздавалась перед ним, бесшумно, не глядя, как раздаётся вода, и через несколько секунд я потерял его из виду.

— Береги ботинки, — донеслось до меня откуда-то из толпы, тихо, отчётливо, словно он сказал это мне прямо в ухо.

Табло над шахтой было огромное, во всю ширину зала, чёрное, с бегущими белыми буквами. Я стоял у сетчатого забора, вцепившись пальцами в холодную проволоку, и смотрел на него, потому что смотреть на него было легче, чем думать о человеке с мутным пятном над головой. Буквы бежали справа налево, ровно, бесконечно, и я читал их, не понимая, как читал в детстве банки в кладовой.

Сначала бежали номера смен и горизонтов, потом время, двадцать часов ноль две минуты, потом что-то про технику безопасности. Потом буквы на секунду погасли, и табло загорелось снова, но уже не белым, а красным, и бег букв замедлился, и над залом, из невидимых динамиков под потолком, раздался ровный женский голос, тот самый голос, которым

говорила утренняя Сводка. Голос шёл отовсюду сразу, и от этого казалось, что говорит сам зал, его белые стены и высокий потолок.

— Внимание, — сказал голос. — Шаг Очереди скорректирован в соответствии с данными переписи населения. Изменения вступили в силу в двадцать часов ноль-ноль минут. Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и продолжать работу в обычном режиме. Корректировка Шага является плановой процедурой Протокола.

Красные буквы на табло повторяли то же самое, бежали справа налево, медленно, словно давая время прочитать. Вокруг меня, у забора, у клетей, у рамок, люди замедлили шаг, некоторые остановились, подняли головы, и над залом прошёл негромкий гул, не голосов даже, а дыхания, одновременного, общего, как бывает в зале, когда со сцены объявляют что-то неожиданное. Потом гул стих, и люди снова пошли, но шли теперь тише, и разговоры вокруг меня изменились.

— Какой переписи? — сказал кто-то рядом со мной, хрипло, зло. — Перепись раз в пять лет, последняя позапрошлой весной была. Какая перепись в ноябре?

— Да и тогда не прыгало, — ответил другой голос. — По переписи на секунды правят, никто и не замечает. А тут слышишь, как щёлкает? Я такого за всю жизнь не помню.

— А мать моя помнила. Один раз, говорила, при ней так прыгнуло, без всякой переписи. Шаг просто так не прыгает. Прыгнул, значит, жди. Обвал будет или ещё что.

— Ну тебя с твоей матерью. Плановая процедура, слышал? Плановая.

— Плановая, — повторил первый голос и сплюнул. — Мать говорила, тогда тоже была плановая, а через неделю на девятом горизонте сорок человек завалило. Тоже, скажешь, по плану?

Я обернулся, чтобы посмотреть на говоривших, но увидел только серые спины и судки в руках. Над людьми у забора висели числа, белые и жёлтые, и я смотрел на них и вдруг понял, что не помню, когда в последний раз щёлкало моё. Я посмотрел в верхний край зрения, на своё белое число, и стал ждать, и ждал, считая про себя, потому что больше не доверял своему чувству времени.

Наконец моё число щёлкнуло снова. Последняя цифра провернулась с тихим знакомым звуком, и я досчитал до трёхсот, потом ещё до двадцати, и число щёлкнуло снова. Пять минут с небольшим, а не шесть, и я досчитал ещё раз, чтобы проверить, и снова вышло пять минут и двадцать секунд, и я стоял у забора, держась за проволоку, и чувствовал, как холодеет у меня в животе.

Каждые шесть минут кто-то доходит, говорили на Острове с тех пор, как я себя помнил, и это было так же верно, как то, что Купол светлеет в шесть утра. Теперь кто-то доходил каждые пять минут и двадцать секунд, и это значило, что все на Острове, от Тимы до моего отца, стали ближе к своей очереди, чем были час назад. Только отец, наверное, не заметил бы этого, потому что его число, как я знал, никогда не уменьшалось.

Клеть подошла через несколько минут. Она поднялась из темноты с долгим скрежетом и встала у края шахты, качнувшись, и решётчатая дверь её отъехала в сторону, и изнутри вышли люди, усталые, грязные, с чёрными от пыли лицами и белыми полосками у глаз, там, где они щурились. Они проходили мимо нас, к рамкам, не глядя по сторонам, и от них пахло мокрой землёй, потом и чем-то едким, похожим на серу.

Мы вошли в клеть, и я встал у задней стенки, у решётки, за которой была только тьма. Клеть была большая, человек на сорок, с полом из стальных прутьев, сквозь которые снизу тянуло тёплым сырым воздухом, и под потолком у неё горела единственная жёлтая лампа в проволочном колпаке. Люди стояли плотно, плечом к плечу, и никто не разговаривал, и я слышал только, как кто-то рядом тяжело дышит и как поскрипывают тросы над нашими головами.

Решётка задвинулась с тяжёлым лязгом. Клеть дёрнулась и пошла вниз, сначала медленно, потом быстрее, и у меня заложило уши, и в животе стало пусто и легко, как бывало в

детстве на качелях в саду, когда Марк раскачивал меня слишком сильно. Жёлтый свет зала ушёл вверх и превратился в узкую полосу, потом в точку, а потом исчез, и остался только свет лампы под потолком клети, тусклый, дрожащий, и чёрные стены шахты, проносящиеся за решёткой.

Стены шахты были мокрые и чёрные. Я видел, как по ним стекает вода, блестя в свете лампы, как она собирается в ручьи и уходит вниз, туда же, куда уходили и мы, и слышал, как она шумит, ровно, глухо, словно где-то совсем рядом, за камнем, течёт подземная река. Воздух становился теплее с каждой минутой, гуще, тяжелее, и пах всё сильнее серой и мокрым камнем, и скоро у меня на лбу выступил пот, и рубашка под курткой прилипла к спине.

Я стоял у задней стенки клети, прижавшись спиной к холодной решётке, и думал о человеке с мутным пятном над головой. Я думал о том, как он сказал «Тень», и как сказал «Томаш», и как сказал «кольцо», спокойно, без всякого выражения, словно перечислял пункты списка. Я думал о том, что он прошёл со мной всю очередь до рамки, положил ладонь на серый металл и выпустил меня, хотя мог взять за подбородок и повернуть моё лицо к свету.

Откуда он знал про Томаша и брикет, я мог понять. Переход был полон людей, и любой из них мог рассказать патрулю, что ночью рядом с седым калекой спал парень в рабочей куртке, который называл себя Яном. Откуда он знал про кольцо, я тоже мог понять, хотя от этого понимания становилось ещё холоднее: кто-то видел меня у Веры, или кто-то видел Веру после меня, или сама Вера…

Я не стал додумывать эту мысль. Я думал о Тени, потому что Тень понять было нельзя. Этого слова не было ни в каких списках, ни на каких планшетах, его не мог увидеть ни один патруль и не могла записать ни одна камера, потому что его знали только двое, и один из них лежал сейчас где-то внизу, в капсуле, и не помнил собственного имени.

Оставалась только мать, и больше никто. Я стоял в клети, в тёплой темноте, пахнущей серой, и видел её такой, какой видел в последний раз: в тёмном свитере, у окна, с песочными часами в руках, перевёрнутыми, чтобы через шесть минут меня там уже не было. Она сказала, что останется, что отец будет искать одного, и ей есть что ему сказать, и я тогда не спросил, что именно, потому что торопился, и потому что боялся спросить.

Теперь я думал, что знаю. Отец спокойно, по-отечески, сидел напротив неё в малой столовой, ставил чашку точно в середину блюдца и спрашивал, и она отвечала, потому что отцу отвечали все. Может быть, она сказала про Яна Мироша, и про служебный проход за гардеробной, и про хронолинзу, и про Тень, и Тень потом спустилась по лестнице в кабинет человека с мутным пятном над головой и стала ещё одним пунктом в его списке.

Мне хотелось верить, что это не так. Мне хотелось верить, что Тень сказала Тоня, которая слышала, может быть, как мать звала меня так утром у двери, или кто-нибудь из прислуги, кто подслушивал за дверями, или ещё кто-нибудь, о ком я не знал. Я стоял, прижавшись к решётке, и перебирал имена прислуги, все двадцать два, одно за другим, как перебирают чётки, и ни на одном не мог остановиться.

Клеть шла вниз долго, гораздо дольше, чем грузовой лифт шёл от Шпиля до грузового двора. Я считал щелчки своего числа, и насчитал их четыре, по пять минут двадцать секунд каждый, и где-то между вторым и третьим у меня перестали болеть уши, и я понял, что давление выровнялось. Люди вокруг меня стояли молча, неподвижно, с закрытыми глазами, многие дремали стоя, привалившись друг к другу, и я тоже закрыл глаза, но спать не мог.

Мне вспомнились его слова о милосердии, и я повторял их про себя, пытаясь понять, что он имел в виду. Внизу тебе покажут, сколько стоит твоё милосердие, сказал он, и сказал это после кольца, после Веры, после кабинки. Значит, кольцо было милосердием, и кабинка тоже, и брикет, который я съел у Томаша, и всё это, наверное, было для него ошибками, которые я совершил, а за ошибки, как учил меня отец, всегда платят.

Я не понимал только одного: почему он сказал «потом сам решишь, платить ли дальше». Это звучало так, словно он не запрещал мне ошибаться, а разрешал, и даже ждал от меня новых ошибок, и хотел посмотреть, что я сделаю, когда узнаю цену. Отец никогда так не говорил, отец говорил, что ошибки исправляют, а не повторяют, и мне вдруг стало страшнее от этой мягкости, чем было бы от угрозы.

Ещё я думал о Шаге, о красных буквах на табло и о хриплом голосе, который спрашивал, какая перепись в ноябре. Мне всю жизнь объясняли, что Шаг зависит от числа людей на Острове, что Протокол считает их и подстраивает счётчик, чтобы Очередь шла ровно, и я верил в это, как верил в Сводки и в радиоактивные бури за Куполом. Только теперь, в тёмной клети, среди людей с чёрными от пыли лицами, мне показалось странным, что Шаг прыгнул именно сегодня, в тот вечер, когда я стоял в очереди к пятой рамке рядом с человеком, над которым не было числа.

Я отогнал эту мысль, потому что она была глупой. Шаг прыгал для всего Острова, для пяти миллионов человек, и никакого отношения ко мне не имел, и думать иначе было так же нелепо, как думать, что Купол светлеет в шесть утра для меня одного. Рабочие у забора говорили, что по переписи Шаг правят так мало, что никто этого не замечает, и что такого скачка не помнит никто из них. Я тоже никогда ничего не замечал, и шесть минут были для меня всегда, как Купол над головой, как солнце в шесть утра.

Клеть замедлила ход, качнулась и встала. Решётка лязгнула и отъехала в сторону, и люди вокруг меня зашевелились, просыпаясь, подхватывая судки и сумки, и начали выходить, медленно, тяжело, по одному. Я вышел последним, потому что стоял у задней стенки, и остановился у края шахты, на мокром каменном полу, и долго не мог понять, куда я попал.

Здесь не было ни белого света, ни рамок, ни табло. Передо мной лежала темнота, тёплая, влажная, густая, как вода, и в этой темноте, далеко впереди, горела одна-единственная лампа, синеватая, холодная, похожая на звезду, какой я никогда не видел на нашем вечернем Куполе. Свет её падал на мокрые стены, на ржавые трубы, на лица людей, уходивших от клети в разные стороны, и делал эти лица мёртвенно-бледными, как лица утопленников.

Где-то рядом капала вода, звонко, ровно, по одной капле, и я слышал этот звук так отчётливо, словно капли падали мне прямо на макушку. Пахло серой, ржавчиной, мокрым камнем и ещё теплом человеческих тел, кислым, тяжёлым, как в переходе, где я спал прошлой ночью. За спиной у меня скрежетнула решётка, и клеть пошла вверх, унося свою жёлтую лампу, и темнота вокруг стала ещё гуще.

Я стоял у края шахты и смотрел на синеватую лампу вдалеке. Число в верхнем краю моего зрения провернулось с тихим щелчком, теперь уже через пять минут и двадцать секунд, и я подумал, что где-то наверху, под жёлтым светом, Тима сидит над своими дробями, а Вера смотрит на него и не смотрит в зеркало. Потом я сделал первый шаг в темноту, на звук капающей воды, туда, где горел холодный свет, и услышал, как под ботинком хрустнуло что-то тонкое, как стекло.

Глава 10

Первую ночь внизу я провёл в нише за горячей трубой, в каком-то боковом тоннеле, куда свернул, потому что оттуда тянуло теплом. Труба была толстая, в облезлой обмотке, и шла вдоль стены на уровне груди, и от неё шёл ровный сухой жар, как от печки в оранжерее, где Ефим зимой держал свои черенки. Я сидел, прижавшись к стене спиной и к трубе плечом, и слушал, как где-то в темноте капает вода, и не мог понять, сплю я или нет.

Темнота здесь была не такая, как ночью в Шпилях или в переходе на Земле. Там темнота всегда была чем-то разбавлена, светом фонаря, отсветом вывески, синевой Купола, а здесь она была полной, плотной, без единой щели, и через какое-то время я перестал понимать, открыты у меня глаза или закрыты. Светилось только одно, число в верхнем краю моего зрения, белое, неподвижное, и его последняя цифра проворачивалась с тихим щелчком каждые пять минут и двадцать секунд.

Я держался за это число, как держатся за перила в незнакомом доме. Оно было единственным, что здесь не изменилось, единственным, что связывало меня с собой прежним, с зеркалом в моей спальне и с утрами, когда я стоял перед ним и ждал щелчка. Мне было стыдно, что именно оно, украденное наполовину, стало для меня опорой, и всё равно я смотрел на него до тех пор, пока не уснул, сидя, с головой на горячей обмотке трубы.

* * *

Настоящего утра здесь не было вовсе. Я проснулся оттого, что затекла шея, и долго лежал, не открывая глаз, пытаясь понять, сколько прошло времени и что меня разбудило. Потом я понял, что разбудил меня свет, слабый, жёлтый, качающийся, и открыл глаза, и увидел, что по тоннелю мимо моей ниши идут люди с фонарями в руках, по двое и по трое, и что фонари у них самодельные, из консервных банок, с огоньком внутри.

Они шли молча, не глядя на меня, и свет их фонарей скользил по стенам, по ржавым трубам, по мокрому бетону, и выхватывал из темноты то кусок кабеля, то лужу, то чей-то сапог. Над людьми висели числа, жёлтые почти все, и в жёлтом свете фонарей они казались грязными, выцветшими, как старые наклейки. Я сидел в своей нише и смотрел, как люди проходят мимо, и считал их, и насчитал одиннадцать жёлтых чисел из четырнадцати.

Я встал, когда они прошли, и пошёл туда же, куда шли они, потому что в той стороне, наверное, было что-то, что им нужно, а значит, и мне. Тоннель был длинный, низкий, с полукруглым сводом, и под сводом через каждые двадцать шагов висели на кронштейнах камеры, такие же, как наверху, только старые, ржавые, с разбитыми стёклами. Ни на одной из них не горела красная точка.

Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, почему я всё время поднимаю голову и смотрю на них. Всю жизнь, сколько я себя помнил, надо мной горели красные точки, в саду, в коридорах, в лифтах, на лестницах, на Земле на каждом столбе, и я привык к ним так, что перестал их замечать. Здесь они не горели, и их отсутствие чувствовалось так же, как чувствуется отсутствие звука, к которому привык, когда в комнате вдруг выключают часы.

Мне стало от этого одновременно легче и страшнее. Легче, потому что здесь, наверное, не было ни одного глаза, который мог бы узнать моё лицо и передать его наверх, отцу или человеку с мутным пятном над головой. Страшнее, потому что здесь никто ни за чем не следил, а значит, никто ни за что и не отвечал, и я вспомнил слова Веры о том, что Ищейки ходят сюда только толпой.

Тоннель вывел меня на перекрёсток, широкий, с высоким сводом, где сходились четыре коридора и где в центре, на вбитом в бетон столбе, горела лампа. Это была кварцевая лампа, такая же синеватая, как та, что я увидел вчера у клети, только ближе, и я впервые смог рассмотреть её: длинная стеклянная трубка в решётчатом колпаке, гудящая, мерцающая, дающая

холодный голубоватый свет, в котором всё казалось вылепленным из льда. Под лампой, на ящиках и на корточках, сидели люди, человек двадцать, и сидели они не просто так, а повернув к ней лица, как сидят у костра.

Я не сразу понял, что они греются. Лампа не давала тепла, от неё веяло скорее холодом, и всё-таки люди тянули к ней руки, ладонями вперёд, и закрывали глаза, и сидели так, неподвижно, долго, как сидят на солнце. Одна старуха держала на коленях младенца, завёрнутого в тряпки, и поворачивала его то одним боком, то другим, чтобы свет падал на всё его маленькое тело.

Я постоял на краю перекрёстка и пошёл дальше, потому что мне было неловко смотреть на них. Мне казалось, что я подглядываю за чем-то, чего не должен видеть, за молитвой или за чужой болезнью. Я вспомнил, как утром в Шпилях солнце било в окно моей спальни, и как я закрывал глаза ладонью и переворачивался на другой бок, чтобы поспать ещё полчаса, и мне захотелось сесть прямо там, на мокрый бетон, и долго не вставать.

— Эй, верхний! — окликнул меня кто-то сзади. — Новенький, что ли?

Я обернулся на этот голос. Ко мне шёл подросток, лет четырнадцати, тощий, в огромной, не по росту, куртке, рукава которой были закатаны в несколько слоёв. Лицо у него было острое, бледное, с прыщами на подбородке, и он улыбался, широко, весело, показывая щербатые зубы, и смотрел мне не в лицо, а куда-то поверх моей головы, как смотрели все.

— Почему верхний? — спросил я.

— Да по всему, — сказал подросток и засмеялся. — Идёшь, на камеры смотришь. Тут никто на камеры не смотрит, они дохлые все. И шея у тебя чистая почти, и ходишь прямо, как в строю. Ты с Сорок Второй, вчерашней сменой? Ночевал где?

— За трубой, — сказал я. — В тоннеле.

— За трубой! — Он хлопнул себя по коленям. — За трубой одни крысы спят, и те с краю. Пошли, покажу, где нормально. Вода есть, место тёплое, недорого. Пару сотен, и спи хоть до вечера.

Я посмотрел на него, и он смотрел поверх моей головы и улыбался. Над ним висело жёлтое число, около восьмидесяти тысяч, почти год, и я подумал, что ему четырнадцать и что через год ему будет пятнадцать, если он доживёт. Мне вспомнились слова Томаша, о том, чтобы спросить себя, зачем, если кто-то что-то даёт, но подросток ведь ничего не давал даром, он просил пару сотен, и я не знал ещё, что такое сотни, но понимал, что это плата.

— У меня нет сотен, — сказал я.

— Ничего, — сказал он легко. — Потом отдашь. Пошли, пошли, тут недалеко.

Он повёл меня по одному из четырёх коридоров, потом свернул в другой, поуже, потом в третий, совсем тесный, где я задевал плечами стены. Свет кварцевой лампы остался позади, и подросток шёл впереди меня с маленьким фонарём, таким же самодельным, из консервной банки, и болтал, не умолкая, о том, где тут вода, где можно поесть, а куда лучше не ходить. Я шёл за ним и запоминал повороты, первый налево, второй направо, третий налево, и на пятом сбился.

Коридор неожиданно кончился глухим тупиком. Это была маленькая квадратная комнатка, бывшая, наверное, когда-то подсобкой или щитовой, с ржавым шкафом у стены и с горой мусора в углу. Подросток остановился посреди неё, повернулся ко мне и поднял фонарь, и свет ударил мне в глаза, так что я зажмурился.

— Вот, — сказал он. — Пришли.

Я услышал шаги за спиной раньше, чем успел открыть глаза. Кто-то схватил меня за локти сзади и дёрнул их назад, так резко, что в плечах что-то хрустнуло, и кто-то другой встал передо мной, рядом с подростком, и я увидел в свете фонаря двух парней постарше, лет по восемнадцать, крепких, с одинаково бритыми головами. Третий держал меня сзади, и я чувствовал его дыхание у себя на затылке, кислое, тёплое, с запахом дешёвого табака.

— Не дёргайся, верхний, — сказал один из бритых. — Не дёргайся, и всё будет хорошо.

— Отпустите, — сказал я. — У меня ничего нет.

— У всех ничего нет, — сказал бритый. — А потом смотришь, а есть. Куртку снимай.

— Это рабочая куртка, она ничего не стоит…

— Снимай, говорю.

Второй бритый шагнул ко мне и, не дожидаясь, взялся за воротник и потянул куртку вниз, с плеч, а тот, кто держал меня сзади, отпустил мои локти на секунду, чтобы рукава сошли. Я дёрнулся, попытался вырваться, ударить его локтем, как учили на занятиях, которые отец устраивал мне с охранником Денисом, но удар вышел слабым, неловким, и тот, сзади, даже не охнул, а только перехватил меня покрепче. Рука у него была тяжёлая и твёрдая, как железный поручень.

Куртку стянули с меня, вывернув рукава наизнанку. Я остался в серой рубашке, и мне сразу стало холодно, хотя в тупике было тепло и душно, и я прижал руку к груди, к нагрудному карману, туда, где под клапаном на кнопке лежала записка Марка. Бритый с курткой в руках встряхнул её, обшарил карманы, сначала наружные, потом внутренний, и вытащил оттуда футляр из тёмного рога.

— О, — сказал он, повертев футляр в руках. — Это что?

— Не надо, — сказал я. — Это материно. Там ничего нет, он пустой.

Он открыл крышку, заглянул внутрь, где на сером бархате лежала пустая подушечка, и хмыкнул. Потом захлопнул футляр и сунул его себе в карман, вместе с курткой, которую перекинул через плечо, и посмотрел на мою руку, прижатую к груди. Глаза у него были светлые, равнодушные, и в них не было ничего, кроме скуки.

— А там что? — спросил он.

— Ничего, — сказал я. — Бумажка. Письмо.

— Покажи.

Я не двинулся с места. Я стоял, прижимая ладонь к груди, и смотрел на него, прямо в лицо, в глаза, хотя Томаш говорил, что в глаза здесь смотрят только Ищейки и те, кто ищет драки. Мне было всё равно, ищу я драки или нет, и я чувствовал, как у меня дрожат колени, и как под ладонью, под тонкой тканью рубашки, колотится сердце.

Бритый посмотрел на меня, потом на мою руку, потом снова на меня. Что-то в моём лице, наверное, заставило его передумать, потому что он пожал плечами, сплюнул на пол и отвернулся. Мне показалось, что он просто не захотел возиться из-за бумажки, которую нельзя ни съесть, ни продать.

— Бумажка так бумажка, — сказал он. — Нужна мне твоя бумажка. Ботинки снимай.

— Нет, — сказал я.

— Чего?

— Ботинки не отдам.

Я сказал это и сам удивился своему голосу, ровному, тихому, совсем не такому, каким говорил минуту назад. Подросток с фонарём хихикнул, но тут же замолчал, а бритый посмотрел на мои ботинки, тяжёлые, рабочие, со стёртыми носами, и на мои ноги, и снова на моё лицо. Потом он махнул рукой, тому, кто держал меня сзади, и тот отпустил, и толкнул меня в спину, так, что я упал на колени, в мусор, на что-то мокрое и мягкое.

— Подавись своими ботинками, — сказал бритый. — Пошли.

Они ушли, все четверо, и унесли с собой фонарь, и я остался стоять на коленях в полной темноте, в маленькой комнатке без выхода, в мусоре, в рубашке. Я слышал, как их шаги удаляются по коридору, как подросток что-то говорит и смеётся, как смех его затихает за поворотом, и потом стало совсем тихо, только где-то далеко капала вода. Темнота сомкнулась вокруг меня, тёплая и душная, и пахла она мокрым мусором.

Я долго стоял на коленях, не вставая. Ладонь моя всё ещё прижимала нагрудный карман, и я чувствовал под ней записку, сложенную вдвое, мягкую, тёплую, и думал о том, что вчера, на лестнице под эстакадой, я переложил её туда, сам не зная зачем. Не сделай я этого, она лежала бы теперь во внутреннем кармане серой куртки, на плече у бритого парня, вместе с пустым футляром матери.

Футляра мне было жаль, и жаль было так, что щипало в глазах. Это был тёмный рог, гладкий, как камешек со дна ручья, и мать шесть лет каждое утро открывала его и доставала линзу, и каждое утро закрывала его снова, и на нём, наверное, остались следы её пальцев. Теперь его унёс в кармане парень с бритой головой, и он, наверное, продаст его кому-нибудь за пару сотен или просто выбросит, потому что пустой футляр никому не нужен.

Линза, по крайней мере, осталась у меня. Она была в глазу, там, где я носил её с позавчерашнего утра, и я понял теперь, что снять её уже не смогу, потому что положить её некуда, а без футляра она потеряется в первую же ночь. Число в верхнем краю моего зрения провернулось с тихим щелчком, белое, неподвижное, и я подумал, что теперь оно будет со мной всегда, пока я жив, и что никакой бритый парень не сможет его унести.

Я встал и пошёл назад, на ощупь, вдоль стены, держась за неё рукой. Повороты я помнил плохо, и на одном из них пошёл не туда и упёрся в другой тупик, и пришлось возвращаться, и я шёл, касаясь пальцами шершавого мокрого бетона, и считал шаги, как считал их в ночь побега в служебном проходе за гардеробной. Где-то через полчаса, а может быть и через час, впереди забрезжил синеватый свет, и я вышел на перекрёсток с кварцевой лампой, где люди всё так же сидели вокруг неё и тянули к ней руки.

* * *

Рынок я нашёл по запаху. Из одного из четырёх коридоров тянуло едой, тёплой, жирной, пряной, и я пошёл на этот запах, как пошёл бы на него, наверное, любой голодный зверь. Коридор вывел меня в огромное помещение, высокое, длинное, с полукруглой крышей из ржавых металлических ферм, по которым когда-то, наверное, ходили краны.

Это было старое депо, или что-то похожее на депо, потому что по полу, между рядами лотков, тянулись рельсы, заржавевшие, утонувшие в грязи. Вдоль рельсов, в несколько рядов, стояли прилавки, сколоченные из ящиков, из дверей, из листов железа, и над каждым висело что-нибудь, что давало свет: самодельный фонарь, тусклая лампочка на проводе, а над самыми богатыми — кварцевая трубка в решётчатом колпаке. От этого смешения света, жёлтого, синего, красноватого, всё вокруг казалось чуть ненастоящим, как в театре, где декорации освещены с разных сторон.

Людей здесь было много, больше, чем я видел где-либо внизу. Они ходили между прилавками, торговались, ругались, смеялись, и над ними висели числа, жёлтые и белые, и жёлтых было больше, гораздо больше, и я перестал их считать на первой же минуте. Шум стоял такой, что я не сразу различил отдельные голоса, и только потом начал выхватывать из него слова, и слова эти были мне незнакомы.

— Три сотни пакет, три сотни, кто не понял! — кричала женщина за прилавком с мешками. — Свежий, со Склада, вчерашний!

— Две с половиной давай, — отвечал ей кто-то. — Три сотни, совсем совесть потеряла.

— Не нравится, иди в Отстойник, там тебе за сотню крысу зажарят!

Я остановился у её прилавка и посмотрел на пакеты. Они были серые, плотные, размером с две мои ладони, с маркировкой Склада, той самой, которую я видел наверху на коробках в грузовом дворе, и внутри у них, наверное, было то же, что продавали в киоске на галерее у Веры. Я смотрел на них и чувствовал, как сводит желудок, и как во рту становится мокро, и не понимал, что значит «три сотни».

Понял я это минут через десять, у другого прилавка. Там, в углу, под самой яркой кварцевой лампой, сидел на высоком табурете худой мужчина с жёлтым, болезненным лицом и

длинными сальными волосами, собранными в хвост. На прилавке перед ним стояла маленькая серая коробка с экраном и мотком тонкого провода, на конце которого блестела металлическая насадка, похожая на короткий карандаш с тремя иглами.

К нему подошёл покупатель, старик в рваной шапке, и наклонил голову, подставляя шею, и мужчина с хвостом приложил насадку старику к основанию черепа, чуть ниже затылка, и нажал. Старик охнул и поморщился, а мужчина посмотрел на экран коробки, нажал на ней что-то и кивнул. Потом отнял насадку, и старик выпрямился, потирая шею, и пошёл к прилавку с пакетами, и женщина за прилавком, не спрашивая ни о чём, протянула ему один.

— Шприц, сколько сегодня? — спросил кто-то у мужчины с хвостом.

— Как вчера, — сказал Шприц, не поднимая головы. — Треть моя. Не нравится, ищи другого.

Я стоял и смотрел, и понемногу понимал. Сотня была не деньгами и не кредитами, а местами, сотней мест в Очереди, и старик отдал три сотни мест, триста мест, больше суток своей жизни, за серый пакет со Склада, и ещё сотню, наверное, отдал Шприцу. Иглы на насадке были маленькие, тонкие, не такие, как в капсуле, но это был шунт, такой же шунт, как тот, что вошёл мне в шею в белом зале, только дешёвый, грубый и умещающийся в кармане.

Я отошёл от прилавка Шприца и пошёл вдоль рядов, не зная, что делать дальше. Голод стал таким сильным, что у меня тряслись руки, и я подумал, что мог бы подойти к Шприцу и подставить ему шею, и отдать три сотни, или пять, или десять, и мне хватило бы на пакет и на воду, и ещё осталось бы девять миллионов. Я не подошёл, потому что вспомнил белый зал и иглы, выходящие из изголовья капсулы, и почувствовал, как у меня немеет затылок.

Ещё я заметил, что некоторых людей на рынке обходят стороной. Они шли между прилавками так же, как все, торговались и покупали, но вокруг них всегда было пусто, на полшага, на шаг, и люди, мимо которых они проходили, отворачивались и замолкали. Я присмотрелся и увидел у одного из них, у высокого парня в кожаной куртке, на шее, над воротником, чёрные нити, тонкие, ветвистые, похожие на трещины на старом фарфоре.

Это была некросетка, такая же, как у меня на шее, только свежее, чернее и гуще. Я машинально поднял руку и потрогал собственную шею, там, где неделю назад кожа была гладкой, и нащупал пальцами едва заметные бугорки, почти уже сошедшие, бледные. Ган говорил, что сойдёт через неделю, и почти сошла, и только самые толстые нити ещё виднелись, наверное, у основания шеи, под воротником рубашки.

— Пастыри, — сказала женщина за соседним прилавком, перехватив мой взгляд, и сплюнула под ноги. — Чего пялишься? Пастырей не видал? Отойди, а то подумают, что ты с ними.

— Кто такие Пастыри? — спросил я.

Женщина посмотрела на меня так, словно я спросил, что такое вода. Над ней висело жёлтое число, месяцев на пять, и руки у неё были красные, потрескавшиеся, с чёрной каймой под ногтями, и она держала в них нож, которым резала что-то серое и волокнистое на деревянной доске. Нож был старый, сточенный почти до половины, и стучал по доске сухо и часто.

— Сдирщики, — сказала она. — Сдирают. Ты откуда такой свалился?

Я не ответил ей и отошёл, потому что не знал, что ответить. Слово «сдирают» застряло у меня в голове, как заноза, и я шёл между прилавками и повторял его про себя, и вспоминал белый зал, иглы, тепло, разливающееся по телу, и лицо за матовой перегородкой. Мне казалось, что я понимаю, что оно значит, и что понимаю это лучше, чем женщина с ножом, потому что меня никто не сдирал, это я сдирал, и это у меня на шее остались те же нити, что у парня в кожаной куртке.

Девочку я увидел у выхода с рынка, там, где ряды прилавков кончались и начинался тёмный коридор. Ей было лет семь, может быть меньше, худая, маленькая, с огромными серыми глазами на бледном лице, и она сидела на перевёрнутом ящике, поджав ноги, и держала в руках тряпичную куклу без одной руки. Рядом с ней стояла женщина, молодая, но с таким измучен-

ным лицом, что я не сразу понял, что она молода, и протягивала руку к каждому, кто проходил мимо.

— Чёрным не отказывают, — говорила женщина, и голос у неё был хриплый, сорванный. — Люди добрые, чёрным не отказывают. Хоть сотню, хоть полсотни. Она у Шприца в зеркальце утром смотрела, чёрненькая у неё. До вечера не дотянет. Хоть сотню, люди добрые.

Люди шли мимо, не останавливаясь. Кто-то отворачивался, кто-то ускорял шаг, кто-то бормотал что-то себе под нос, и я видел, что им стыдно и что они всё равно не остановятся. Одна старуха остановилась, долго стояла, жуя губами, и наконец сказала, что сотню даст, и пошла с женщиной к Шприцу, и вернулась оттуда, потирая шею, и ушла, не глядя на девочку.

Я стоял у последнего прилавка и смотрел на девочку. Над её головой, над светлыми спутанными волосами, пульсировало чёрное число, медленно, ровно, как пульсирует жилка на виске. В нём было три цифры, двести девяносто с чем-то, и я знал, что это значит, знал теперь даже лучше, чем знал утром в саду, когда Ефим подрезал свои розы, потому что теперь Шаг прыгнул, и каждые пять минут двадцать секунд кто-то доходил.

Ей оставалось двести девяносто мест. Это было меньше суток, около двадцати шести часов, и сотня, которую дала старуха, уже была в этом числе, потому что я видел, как оно дрогнуло и выросло, когда старуха вернулась от Шприца. Значит, утром, когда девочка смотрела в зеркальце, у неё было меньше двухсот, и мать знала об этом, и стояла здесь с утра, с протянутой рукой, и выпросила одну сотню.

Девочка подняла голову и посмотрела на меня. Она смотрела не поверх головы, как смотрели здесь взрослые, а прямо мне в лицо, как смотрел на меня Тима, когда показывал свой рисунок. Потом она подняла куклу без руки и помахала ею мне, медленно, серьёзно, как машут на прощание из окна уходящего трамвая.

Я стоял и не мог двинуться. Я думал о Томаше, который разломил брикет пополам, и о Вере, которая сто сорок два раза садилась в белое кресло напротив сына, и о матери мальчика в шапке с помпоном, которая заплатила две тысячи мест налога за то, чтобы её сын прожил на месяц дольше. Ещё я думал о себе, о девяти миллионах ста восьмидесяти тысячах, которые висели надо мной, белые, огромные, неподвижные, и о том, что пятьсот семьдесят четыре тысячи из них я не заработал и не выиграл, а просто взял.

Я подошёл к женщине совсем близко. Она увидела меня, протянула ко мне руку и открыла рот, чтобы сказать своё «чёрным не отказывают», и не сказала, потому что я заговорил первым. Голос у меня был хриплый, чужой, и я сам его не узнал.

— Как её зовут? — спросил я.

— Мышка, — сказала женщина, растерявшись. — Мышкой зовём. А что?

— Пойдёмте к Шприцу, — сказал я. — Я дам.

— Сотню? — Женщина схватила меня за рукав рубашки, крепко, обеими руками. — Сотню дашь? Господи, милый, дай тебе…

— Пойдёмте, — повторил я.

Мы подошли к прилавку Шприца втроём: женщина держала меня за рукав, девочка держала женщину за руку, а кукла без руки болталась у девочки под мышкой. Шприц сидел на своём табурете под кварцевой лампой и что-то ковырял в серой коробке маленькой отвёрткой, и поднял голову, когда мы подошли, и посмотрел поверх моей головы. От его коробки тянуло горелой изоляцией и чем-то кислым.

— Чего? — спросил он.

— Я хочу отдать ей, — сказал я и кивнул на девочку.

— Сколько? — Шприц отложил отвёртку. — Сотню? Две? Треть моя, сразу говорю.

— Тридцать тысяч, — сказал я.

Шприц замер с насадкой в руке. Женщина рядом со мной тоже замерла, и я почувствовал, как её пальцы на моём рукаве разжались, медленно, словно она не была уверена, что правильно расслышала. Девочка смотрела то на меня, то на мать, и не понимала, почему все замолчали.

— Ты, парень, перегрелся, — сказал Шприц наконец, тихо. — Ты знаешь, сколько это, тридцать тысяч? Это четыре месяца. Почти. У тебя самого-то столько есть?

— Есть, — сказал я.

— Ну-ну. — Шприц усмехнулся, криво, недоверчиво, и взял в руки насадку с тремя иглами. — Давай посмотрим, что у тебя есть. Шею давай. Треть моя, учти. Отдашь тридцать, ей двадцать придёт. Если, конечно, есть что отдавать.

Я наклонил голову и подставил ему шею. Он отвёл рукой мои волосы с затылка, и пальцы у него были холодные, влажные, липкие, как кожура варёной картошки, и я почувствовал, как он нащупывает место, чуть ниже затылка, там, где под кожей сидел чип. Потом что-то кольнуло, остро, глубоко, три раза подряд, и по позвоночнику вниз пробежал холод, и в глазах на мгновение потемнело.

Мне показалось, что я снова лежу в капсуле, в белом яйце на постаменте, и над моим лицом зеркальная крышка, и матовая перегородка справа становится прозрачной. Это длилось одну секунду, может быть меньше, и прошло, и я снова стоял у прилавка в старом депо, наклонив голову, и слышал, как гудит кварцевая лампа, и чувствовал, как трясутся пальцы Шприца у меня на затылке. Пахло от него потом и машинным маслом, и запах этот вернул меня в депо окончательно.

Пальцы его действительно мелко тряслись. Я понял это не сразу, а только когда он перестал нажимать на насадку и замер, и я услышал, как он тихо, протяжно свистнул сквозь зубы. Я скосил глаза на серую коробку на прилавке и увидел на её маленьком экране цифры, длинные, белые, и не сразу понял, что это за цифры, а потом понял, потому что видел их каждую минуту в верхнем краю своего зрения.

Девять миллионов сто восемьдесят тысяч с чем-то. Коробка показывала Шприцу то, что было у меня, весь мой остаток, всё моё число, белое, огромное, такое, какого здесь, внизу, наверное, никто никогда не видел. Шприц смотрел на экран, и лицо у него было такое, словно он увидел на нём не цифры, а что-то живое, что могло укусить.

— Девять, — сказал он очень тихо. — Девять миллионов.

Он поднял глаза от экрана и посмотрел на меня. Не поверх головы, как смотрел минуту назад, а прямо мне в лицо, в глаза, долго, внимательно, словно запоминал его, и я увидел, как в его зрачках что-то быстро шевельнулось, как шевелится рыба под водой. Потом он моргнул, и это прошло, и он снова опустил взгляд на экран.

— Тридцать, говоришь, — сказал он обычным голосом. — Ну, давай тридцать. Мне-то что. Мать, девку сюда давай, шею ей открой.

Девочке он приложил насадку осторожнее, чем мне, и девочка всё равно заплакала, тихо, без крика, уткнувшись матери в живот. Шприц нажал что-то на коробке, раз, другой, третий, и я почувствовал, как у меня в затылке, под иглами, разливается холод, и как этот холод уходит куда-то, вытекает из меня тонкой струйкой. Это было совсем не похоже на тепло, которое я чувствовал в капсуле, когда в меня вливали Марка, и я понял, что так и должно быть, что тепло чувствует тот, кто берёт, а холод тот, кто отдаёт.

Я смотрел на своё число. Оно дрогнуло и побежало вниз, разрядом, как бежало число матери мальчика в белом пункте у Веры, и остановилось на тридцать тысяч меньше. Над девочкой чёрное число перестало пульсировать, мигнуло, словно раздумывая, и стало жёлтым, и выросло, разом, на двадцать тысяч, и я знал, что десять тысяч, которых не хватало, ушли в коробку Шприца, или в самого Шприца, или туда, куда уходили две тысячи налога в белом пункте.

Теперь у неё было двадцать тысяч двести девяносто. Это было семьдесят пять дней, если Шаг не прыгнет снова, два с половиной месяца, и я понимал, что это мало, что это почти ничего, что через два с половиной месяца девочка снова сядет на ящик у выхода с рынка и её мать снова будет протягивать руку. Только сегодня она не дойдёт, и завтра не дойдёт, и в конце этой недели не дойдёт тоже.

Шприц отнял насадку от моей шеи. Я выпрямился, и в затылке у меня заныло, тупо, глубоко, и я потрогал шею и нащупал пальцами три маленькие влажные точки. Женщина стояла передо мной, держа дочь за плечи, и смотрела на меня, и лицо её было мокрым, хотя я не видел, когда она начала плакать.

— Сколько? — спросила она шёпотом, обращаясь не ко мне, а к Шприцу. — Сколько ей дал?

— Двадцать тысяч пришло, — сказал Шприц, не поднимая глаз от коробки. — Месяца на два с лишним.

Женщина охнула и опустилась на колени, прямо в грязь, у моих ног. Она схватила мою руку, обеими руками, и прижала её к губам, и я чувствовал, как её губы, сухие, потрескавшиеся, касаются моих пальцев, и как на них капают её слёзы, горячие. Она что-то говорила, быстро, неразборчиво, всхлипывая, и я не мог разобрать ни слова, кроме одного, которое она повторяла снова и снова: «милый, милый, милый».

— Встаньте, — сказал я. — Пожалуйста, встаньте. Не надо.

Она всё не вставала с колен. Вокруг нас уже собирались люди, я чувствовал их спинами, их взгляды, их дыхание, и слышал, как они переговариваются вполголоса, и как кто-то говорит «двадцать тысяч», а кто-то другой переспрашивает «сколько?». Я выдернул руку из рук женщины, мягко, как только мог, и отступил на шаг, и наткнулся на кого-то спиной.

Девочка подошла ко мне сама. Она стояла передо мной, маленькая, с огромными серыми глазами, с куклой без руки под мышкой, и смотрела на меня снизу вверх, прямо в лицо. От неё пахло сыростью и дымом, как пахло здесь от всех.

— Ты кто? — спросила она.

— Ян, — сказал я.

— Спасибо, Ян, — сказала она серьёзно, как говорят взрослые, и протянула мне куклу. — Возьми. Её Рукой зовут. Потому что одна рука.

Я осторожно взял у неё куклу. Она была лёгкая, тряпичная, с вышитыми чёрными нитками глазами и с одной рукой, пришитой к плечу толстыми неровными стежками, а на месте другой руки торчал грязный обрывок ткани. Я подержал её на ладони, потом вернул девочке, и девочка взяла её, не споря, и прижала к груди.

— Пусть у тебя будет, — сказал я. — Ей с тобой лучше.

Я ушёл от прилавка Шприца быстро, почти бегом, расталкивая людей, которые стояли вокруг нас. Мне хотелось уйти как можно дальше от женщины, которая целовала мне руки, от девочки с куклой, от Шприца, который смотрел мне в глаза, и от людей, которые переговаривались «двадцать тысяч, двадцать тысяч». Я шёл между прилавками, не разбирая дороги, и только у противоположного конца депо остановился и прислонился к ржавой ферме, тяжело дыша.

Мне было странно, что я ничего не чувствую. Я ждал, что почувствую радость, или облегчение, или хотя бы что-то тёплое в груди, как бывало в детстве, когда мы с Марком приносили Лизе с кухни украденное печенье. Вместо этого я чувствовал только холод в затылке, тупую ноющую боль под тремя маленькими точками и пустоту, такую же, как в животе, только выше, под рёбрами, там, где лежала записка.

Я отдал тридцать тысяч мест. Я посчитал в уме, что это три с половиной дня из тех семи лет, что я взял у Марка, и что если бы я отдавал по тридцать тысяч каждый день, то вернул бы долг Марку только через девятнадцать дней. Девятнадцать девочек с куклами, девятнадцать

матерей на коленях в грязи, девятнадцать раз игла Шприца в затылок, и всё равно Марку от этого не стало бы ни на одно место легче.

Я вспомнил человека с мутным пятном над головой. Внизу тебе покажут, сколько стоит твоё милосердие, сказал он мне у рамки, и вот мне показали: тридцать тысяч мест, четыре месяца без малого, и треть из них взял себе Шприц. Цена была названа, и я заплатил её, и не жалел ни об одном месте, и мне казалось, что Гончий ошибся, что милосердие стоит не так уж дорого, если ты можешь его себе позволить.

* * *

Шприц нашёл меня через час, у той же ржавой фермы, где я сидел на корточках и пытался заставить себя не думать о еде. Он подошёл неслышно, я не заметил, как, и вдруг оказался рядом, худой, с жёлтым лицом и сальным хвостом, и протянул мне серый пакет со Склада, тот самый, за три сотни. Двигался он легко, по-кошачьи, и я подумал, что так ходят люди, которые привыкли подходить к другим со спины.

— На, — сказал он. — Ешь. Ты ж с утра, небось, ничего не ел.

Я посмотрел на пакет, потом на него. Над ним висело белое число, не огромное, лет на двадцать, и я подумал, что с каждой сотни, которая проходила через его коробку, он брал себе треть, и что, наверное, только поэтому его число было белым. Он смотрел поверх моей головы, по обычаю, и держал пакет на вытянутой руке, и ждал.

— Сколько? — спросил я.

— Нисколько. — Шприц пожал плечами. — Даром. За то, что ты мне сегодня десять тысяч принёс. Мне таких клиентов, знаешь, за год не набирается. Ешь, говорю, не стесняйся.

Я взял у него пакет. Он был тёплый, мягкий, и пах так, что у меня свело скулы, и я разорвал его зубами, не дожидаясь, и стал есть прямо руками, что-то серое, волокнистое, солёное, похожее на кашу. Шприц сел рядом на корточки и смотрел, как я ем, и молчал, и я чувствовал, как его взгляд время от времени соскальзывает с пустоты над моей головой на моё лицо и задерживается на нём.

— Ночевать есть где? — спросил он, когда я доел.

— Нет, — сказал я.

— Пошли ко мне. У меня тепло, вода есть, топчан лишний. Даром, — добавил он, предупреждая мой вопрос. — Сегодня даром. Ты мне понравился, парень. Мало кто тут сотню-то даст чёрной девке, а ты тридцать тысяч отвалил, глазом не моргнул.

Я внимательно посмотрел на него. Томаш говорил, что если кто-то даёт что-то даром, надо спросить себя, зачем, и я спросил себя, сидя на корточках у ржавой фермы с пустым пакетом в руках, и не нашёл ответа. Шприц смотрел поверх моей головы и улыбался, и улыбка у него была хорошая, дружелюбная, почти такая же, как у подростка в огромной куртке, который утром повёл меня в тупик.

— Спасибо, — сказал я. — Я сам найду.

— Ну, сам так сам. — Шприц встал, отряхнул колени. — Если что, я тут всегда, под лампой. Спроси Шприца, любой покажет. Ян, говоришь?

— Ян.

— Ну, бывай, Ян.

Он ушёл, не оборачиваясь, и я смотрел ему вслед, пока его хвост не скрылся между прилавками. Шёл он не спеша, кивая знакомым, и люди перед ним не расступались, как перед Пастырями. Мне почему-то вспомнилось, как в тупике подросток с фонарём улыбался мне той же самой улыбкой.

* * *

Ночевать я ушёл подальше от рынка, в один из боковых коридоров, где не было ни ламп, ни людей, ни прилавков. Я нашёл там нишу под толстой трубой, такую же, как прошлой ночью, тёплую, сухую, и забрался в неё, поджав колени к груди, и долго сидел, глядя в темноту и слу-

шая, как капает вода. Без куртки было холодно, несмотря на трубу, и я прижался к её обмотке спиной, и она грела меня, как грела бы ладонь.

Затылок ныл, и я потрогал его пальцами и нащупал три маленькие точки, уже подсохшие, и вокруг них что-то шершавое, чуть выпуклое, как свежий шрам. Я подумал, что там, наверное, теперь новая некросетка, маленькая, свежая, чёрная, и вспомнил парня в кожаной куртке, вокруг которого на рынке всегда было пусто, и женщину с ножом, которая сказала «отойди, а то подумают, что ты с ними». Теперь, наверное, так подумали бы и обо мне.

Число в верхнем краю зрения провернулось с тихим щелчком. Девять миллионов сто пятьдесят тысяч с чем-то, на тридцать тысяч меньше, чем утром, и где-то в этом городе под городом, в тёмном коридоре за рынком, спала девочка по имени Мышка, у которой теперь было двадцать тысяч двести девяносто. Мне хотелось думать об этом, а не о Шприце, о его жёлтом лице и о том, как он посмотрел мне в глаза, долго, внимательно, словно запоминал.

Я уже засыпал, когда услышал шаги. Они шли по коридору, медленно, осторожно, без фонаря, и остановились где-то недалеко, шагах в двадцати, может быть ближе. Я лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, и слушал тишину, в которой кто-то стоял и дышал, тихо, ровно, и мне казалось, что этот кто-то смотрит прямо на меня, хотя в такой темноте смотреть было невозможно.

Шаги не возвращались долго, и я начал думать, что они мне почудились. Потом они раздались снова, удаляясь, так же медленно и осторожно, как приближались, и стихли за поворотом коридора, и стало слышно только, как капает вода и как гудит где-то за стеной горячая труба. Я лежал и ждал, что они вернутся, и считал щелчки своего числа, один, второй, третий, и на четвёртом уснул, так и не поняв, были ли они на самом деле.

Глав

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.